ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА № 19 МАЙ 1987



ЭХО ВОЙНЫ

РЯДОМ С МИХАИЛОМ БУЛГАКОВЫМ



АВТОРОДЕО

МЫ ПОБЕДИЛИ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ОГОНЁК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 19 (3120)

9—18 МАЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Домой с Победой! Июль 1945 года.
Фото Михаила САВИНА. Публикуется впервые.

НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ
Фото Виктора САВИКА.

Оформление А. А. КОВАЛЕВА при участии О. ХРОМОВОЙ.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Коммунистического воспитания — 250-38-17; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-39; Писем и массовой работы — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформления — 212-15-77; Литературных приложений — 212-22-13.

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 17.04.87. Подписано к печати 05.05.87. А 00371. Формат 70×108¹/₈. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 500 000 экз. Изд. № 1210. Заказ № 520.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВЫДВИЖЕНИЕ

Александр ЩЕРБАКОВ, Павел КРИВЦОВ (фото), специальные корреспонденты «Огонька»

— Предлагаю проголосовать за доярку Нину Феофановну Качан...
— Хочу, чтобы в Совет прошел Аркадий Иосифович Шабан...
— Моя кандидатура — Галина Иосифовна Бумай, заведующая нашим фельдшерско-акушерским пунктом...







Те, кто называл их — заведующий фермой Евгений Антонович Гришан, звеньевая Надежда Степановна Трусковская, учительница Галина Павловна Лейко,— не подбирали высоких слов, чтобы охарактеризовать своих кандидатов в депутаты сельского Совета. Все их знают. Да и зачем высокопарные слова, если вполне достаточно простых и убедительных: «всегда говорит правду в глаза», «болеет за общие интересы», «не ждет, пока попросят сделать доброе дело»... Вспомнили, что понадобилось срочно ночью отвезти в больницу захворавшего человека, и Аркадий Иосифович Шабан, узнав, быстро оделся и побежал в гараж. Не забыли, сколько сделал для начинающих жизнь ребят и девчонок директор Обуховской школы Владимир Григорьевич Рокач. Оценили, как дорожил честью получать колхозную стипендию Саша Евушко, был отличником в сельскохозяйственном институте, а приехал домой, принял производственный участок — землю, фермы, машины; справляется, и все — от подростков до самых почтенных селян — уважают его и верят ему беспредельно...

За хороших людей голосовали на предвыборном собрании жители деревень Остухово и Жуки. Назвали великую труженицу Степаниду Степановну Пецевич, занесли в список председателя колхоза Станислава Валерьяновича Лычковского, поднимали руки за шофера Николая Семеновича Бумая... Выступали дружно, откровенно; обнаруживался повод поспорить — спорили...

Верно сказал перед началом предвыборного собрания нынешний председатель Красненского сельсовета Виктор Константинович Кунашко (собрались задолго, задержались только те, кто заканчивал рабочий день):

— Депутат — это не приложение к должности, а реальная власть. А власть жива прежде всего активностью народа. Ее трудно воспитать, когда на первом же этапе выборов людям объявляют утвержденную наверху кандидатуру депутата и на том выдвижение завершается. Так ведь приучили. И это принизило — дальше некуда! — роль сельских Советов, их авторитет упал, влияние снизилось...

Возьмите хотя бы такую на первый взгляд несущественную, однако очень примечательную деталь: каких только рангов должностные лица не наведываются в деревню?! На машинный двор заглянуть время выкроят, по коровнику пройдут, возле комбайна или трактора в поле задержатся... А вот в сельсовет заглянуть... Куда уж реже! Разве это не характеризует отношение к сельсоветам?! По любому почти поводу иди на поклон к председателю колхоза. Он хозяин — у него и люди, и средства, и техника, и строительные материалы. А если он с норовом — попробуй подступись тогда! А без него, председателя колхоза, сельсовет со своим более чем скромным бюджетом — без транспорта, безо всякой базы — только и богат, что энтузиазмом. Конечно, это великая вещь! Только не всегда им одним обойдешься. Вот проводим мы праздники деревень. Нужно украшать улицы, поощрить победителей конкурсов, детворе подарки купить... Ладно у нас с правлением колхоза отношения добрые... А живем ведь не одними праздниками...

Да, многое надо менять в отношении к Советам народных депутатов. И начинать, разумеется, с выборов той самой реальной власти, по положению и деятельности которой, как дружно подчеркивали собравшиеся в Остуховской школе, народ судит о государстве — о его силе и прочности, умении подчиняться интересам масс и организовывать их.

Начинать с выборов... Никто не чувствовал себя посторонним на предвыборном собрании в колхозе «Маяк». Тем более что выборы в сельские и районные Советы в порядке эксперимента проводятся тут по многомандатной системе. Объединяются несколько избирательных округов, кандидатов выдвигают — где четверых, где пятерых, где шестерых — и непременно больше, чем мандатов. Голосовать будут за всех; получивший наименьшее количество голосов останется резервным депутатом с правом совещательного голоса в Совете. А случится кому-то из депутатов выбыть — он, резервный, без голосования возьмет мандат.

Словом, есть возможность обдумывать кандидатуры, отстаивать свое мнение, убеждать других в его правильности... Так он и шел в Остухове, этот первый в теперешней предвыборной кампании разговор,— заинтересованно, накаленно, остро. Весь свой ораторский талант использовал Николай Лукьянович Маныло, чтоб попал в число кандидатов шофер Николай Семенович Бумай. И примеры в его пользу приводил, и достойные подражания качества перечислял... Не попал Николай Бумай в окончательный список, набрав меньше голосов, чем другие претенденты (число вносимых в список, напомню, ограниченно).

Расстроился Николай Лукьянович. Но не обиделся. Чего же обижаться?! Сам ведь, выступая

Окончание на стр. 6.

ТРАВА ПОСЛЕ НАС

ИНТЕРВЬЮ «ОГОНЬКА»

МИНСК ТАНКОВАЯ УЛИЦА ДОМ ДЕСЯТЬ КВАРТИРА 132 ВАСИЛЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ БЫКОВУ ТЧК ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ОГОНЬКА ФЕЛИКСА МЕДВЕДЕВА ТЧК ПЕРВЫЙ НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧИТАТЕЛИ КАК БЫ ПООСТЫЛИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ НА ВОЕННУЮ ТЕМУ ТЧК ЕСЛИ ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ ТО ЧЕМ ЭТО МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ТЧК

●

Василь Быков, его творчество продолжают волновать читателей. Новые произведения, выходящие из-под пера известнейшего белорусского прозаика, пишущего в основном «про войну», сразу же обжигают людское сердце, тревожат душу, заставляют думать, бередят память.

Давно мне хотелось повстречаться с писателем, поговорить с ним. Скромный и застенчивый, много занятый общественными делами человек, не любящий суесловия, парадности, Василь Владимирович никак не мог выбрать для этого время. Тогда я послал ему телеграмму с вопросами, зная, что он приедет в Москву на пленум Союза писателей СССР. Журналистский прием оказался удачным: когда писатель приехал в Москву, он был настроен на разговор. Мы с ним беседовали в гостинице «Россия», где он жил, и два дня просидели вместе на писательском форуме в Центральном Доме литераторов.

— Недавно в печати я с опаской предсказывал скорое наступление такого охлаждения. Дело в том, что мы давно и прочно привыкли существовать в ритме различных общественно-политических кампаний, которые с удивительно отрегулированным постоянством на протяжении десятилетий сменяют одна другую. Только недавно мы с шумом и упоением отпраздновали сорокалетие нашей Победы в Великой Отечественной войне, когда, по-видимому, и произошло неизбежное перерасходование энергии почитания и восторгов. Наступил естественный спад — спад внимания, интереса к проблемам прошлой войны и литературы о ней.

На многие, даже очень ценные вещи у нас нет твердого, устоявшегося взгляда, мы в значительной мере подвержены моде, кампаниям, постоянно жаждем новизны, эпатажа, и если их нет — очень скоро отворачиваемся к другим проблемам и сомнительным ценностям...

— В редакцию пришло письмо от женщины, которая не читает тех книг о войне, где герои умирают. Что вы думаете о таком читателе?

— Если не иметь в виду, быть может, какие-то особо личные обстоятельства в судьбе этой женщины, думаю, что она принадлежит к читателям определенного рода, которые сформулировали свое отношение к искусству как к комфортному мероприятию. Неважно, что должно приносить удовлетворение: роман ли, кинофильм или концерт. Если же этого состояния нельзя получить, если произведение вызывает чувства другого плана, то такое произведение считается плохим или каким-то не тем.

Что касается читателей, то бог с ними, таких читателей немало и у нас, и за рубежом. Плохо, что в последнее время такие мысли высказывают специалисты, критики, которые после того, как наша литература заговорила о негативных явлениях недавнего прошлого, почувствовали тоску и печаль по «розовым» героям, по комфортным отношениям. Но чего стоит такая литература, особенно в наше время? Литература, которая способна не разбудить, а усыпить.

— Григорий Бакланов в недавнем интервью «Огоньку» сказал, что, как показывает опыт, «самые значительные книги о войне написаны ее участниками. Так было всегда». Это означает, что невоевавшие, то есть все те, кому сегодня до пятидесяти, не могут браться за военную тему. Вы согласны с такой точкой зрения?

— Трудно не согласиться с Баклановым, хотя это мнение вряд ли понравится многим молодым писателям. Но в таких случаях в качестве оптимального выхода я указываю на пример молодой белорусской писательницы Светланы Алексиевич, родившейся после войны. Она не стала о войне сочинять небылиц, а с магнитофоном в руках пошла к воевавшим женщинам и записала сотни их исповедей-рассказов, из которых и составила книгу. Эта ее книга прозвучала свежо и искренне даже в белорусской литературе, в которой о войне, как известно, написано хорошо и немало. Потом появилась и новая книга Алексиевич — воспоминания подростков, переживших войну. Это ли не пример для невоевавших, но обнаруживших свою приверженность к теме войны в плодотворности данного метода? Следование же по другому пути—пути чистого воображения, сколь бы плодотворным он ни был, не может застраховать от вторичности, приблизительности, эмоциональной упрощенности, особенно заметных в сравнении со столь мощно звучащими произведениями о войне, написанными ее непосредственными участниками.

— Василь Владимирович, по мнению некоторых критиков и писателей, именно вам удается наиболее естественно выражать в слове жестокую сущность войны. Читая это, я всегда задумывался: а разве другие писатели не сказали правды о той суровой и великой поре?

— Сам я так не считаю. Наоборот, думаю, что именно другие авторы, особенно в русской литературе (Симонов, Смирнов, Бакланов, Бондарев, Воробьев, Крутилин, Астафьев, Адамович, Гусаров и др.), написали больше, а главное, лучше меня, начавшего позже и во многом так или иначе уже учитывавшего их опыт. Может быть, некоторая моя заслуга состоит в том, что я смелее пошел на упрощение и заострение отдельных характеров и положений там, где другие авторы стремились к большой художественности, романной основательности. Но еще неизвестно, кто в конце концов окажется в выигрыше, а кто в проигрыше, это определит лишь неумолимое время.

— Один из критиков в свое время обвинил вас в «ремаркизме». Вы не обиделись, не оскорбились? Ведь, к сожалению, некоторые наши маститые писатели, и об этом говорилось на пленуме СП СССР, стали воспринимать даже незначительные критические замечания в свой адрес как личное оскорбление.

— Разумеется, я обижался на многие несправедливые обвинения в свой адрес, но только не на этот укор. В то время я уже хорошо знал, что навешивание ярлыков и обвинения во всяческих «измах» — отработанный прием определенного толка критиков, но что касается Ремарка и особенно его известного романа, то я слишком уважал этого автора, чтобы обидеться за причисление к его последователям. Ремарк — большой писатель-гуманист, пришедший к нашему читателю в благодатное для нас время и добротворно потревоживший своими образами наши вдруг посветлевшие головы.

— Есть правда о войне, выраженная в таких ваших произведениях, как «Журавлиный крик», «Третья ракета», «Альпийская баллада», «Атака с ходу», «Круглянский мост», «Обелиск», «Дожить до рассвета» и других. Есть правда нашей истории, правда о сегодняшнем быстротекущем дне.

Скажите, можно ли ожидать от вас книги, я бы сказал так, не о войне?

— В последнее время у меня все чаще появляется такое желание, для которого, я думаю, в окружающем мире достаточно оснований. Но что касается недавнего прошлого и его поразительных проблем, то, будучи реалистом, не перестаешь сожалеть об отсутствии у тебя дарования бессмертного Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, своеобразный талант которого с таким блеском изображал всю степень алогичности многих общественных явлений, успешно просуществовавших до наших дней.

Чингиз Айтматов писал о том, что «судьба сберегла нам Василя Быкова, чтобы он жил и писал от имени целого поколения, от имени тех, кто юнцами познал войну и возмужал духом с оружием в руках, для которых день жизни был равен веку жизни». На обелиске одной из братских могил под Кировоградом в списке погибших значится фамилия Быкова. Случай уникальный для фронтовика, оставшегося в живых. Я попросил своего собеседника рассказать, как это произошло.

— Зимой сорок четвертого года в ночном бою под Кировоградом был разгромлен наш стрелковый батальон, в котором я служил. Место это на короткое время захватили немцы. Наши части были отброшены, батальон почти целиком подмяли немецкие танки, командир погиб, многие солдаты тоже. Потом фашисты отошли, но начавшиеся в степи снегопады замели места боев и тела погибших. Хоронили убитых жители окрестных деревень только в марте, когда растаял снег. Наш фронт к тому времени был уже далеко, на Южном Буге. Поэтому всех погибших опознать не могли. У кого были документы, те и были опознаны. А те, у кого документов не оказалось, остались безвестными. В деревне Большая Северинка захоронили в братской могиле около 150 человек, и далеко не все имена были установлены. Я же в том бою был ранен и после нескольких дней приключений попал в госпиталь Пятой танковой армии, то есть в госпиталь другой армии. На поле боя осталась моя полевая сумка, а в ней мои документы. Таким образом по штабным документам я числился убитым, поскольку в свою часть не вернулся.

— Я слышал, что вы ведете довольно аскетический образ жизни, что вы жесткий, сухой человек. Скажите, таким вас сделала война, переживания?

— В вашем вопросе до известной степени отразились наветы моих недоброжелателей. Вовсе я не аскет и не сухой человек, но вот я думаю, как глубоко был прав Джон Стейнбек, сказавший однажды: «Ужасное это дело — утрата безвестности». Наверное, всякому живому человеку, не только писателю, трудно бывает мириться с тем, что его жизненное, отпущенное ему судьбой время беззастенчиво растранжиривается, растаскивается, расхищается для вздорных, ненужных, пустопорожних дел и мероприятий. Могильщик писательского времени — телефон тиранит сверх всякой меры. Я стараюсь избегать хотя бы части его вздорных требований, но нередко сдаюсь, загнанный в угол многоопытными организаторами никому не нужных мероприятий, и, сидя где-нибудь на очередном заседании и уныло слушая пустопо-



рожнюю болтовню упоенных собой краснобаев, горько упрекаю себя за бесхарактерность. Выкроить полдня тихого одиночества для работы становится все труднее в век безудержного бюрократического ускорения — кажется, самой безусловной реальности, ставшей уже бытом и бытием для многих.

— Вас тянет туда, где вы бывали в годы войны, где сражались, где прошла часть вашей молодости?

— Кое-где я побывал. В Венгрии, например. Места, конечно же, изменились, многое трудно узнать. Конечно, тянет туда, где воевал, где прошла молодость. Но я считаю, не надо стремиться на встречу с прошлым, потому что неизбежны разочарования. Потому что настоящее никак не соответствует образу, созданному в твоей памяти. И вы знаете, я понимаю, почему Марк Шагал, когда он приезжал в Советский Союз, не посетил Витебск. Он, наверное, поступил правильно. Этот умный старый

***СУДЬБА СБЕРЕГЛА НАМ ВАСИЛЯ БЫКОВА,
ЧТОБЫ ОН ЖИЛ И ПИСАЛ ОТ ИМЕНИ ЦЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ,
ОТ ИМЕНИ ТЕХ, КТО ЮНЦАМИ ПОЗНАЛ ВОЙНУ
И ВОЗМУЖАЛ ДУХОМ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ,
ДЛЯ КОТОРЫХ ДЕНЬ ЖИЗНИ БЫЛ РАВЕН ВЕКУ ЖИЗНИ...***

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

человек понимал, что он не отыщет того, чего нет. Ведь послевоенный Витебск — это совершенно изменившийся город. Хотя в нем есть дом и улочка, где жил Шагал, но это вовсе не значит, что именно такими они существовали в его памяти. Поэтому, чтобы не разрушать в себе дорогое, не надо заново искать его.

Кстати, уж коль я заговорил об этом великом художнике, замечу, что белорусская интеллигенция благодарна Андрею Вознесенскому, напечатавшему свой очерк о Шагале в «Огоньке» и в этом порыве опередившему любого из нас. Конечно, поначалу мы должны были написать о Шагале у нас, в Белоруссии. Но у нас, к сожалению, до сих пор существует разброд по отношению к имени, к творческому наследию ныне всемирно известного художника. Снова повторяется прежняя, почти библейская истина: нет пророка в своем отечестве. Уходит из жизни художник, и мы постепенно, с оглядкой на что-то или кого-то начинаем его признавать. Осенью я разговаривал с руководством Витебской области о создании музея Шагала, вроде бы возражений особых не было, но и дел конкретных тоже не видать.

— Василь Владимирович, не связано ли ваше пристрастие к Шагалу с тем, что на творческую стезю вы вступили поначалу как художник? Ваши биографы сообщают, что вы учились в художественном училище. Сохранились ли работы той давней поры?

— Все дети имеют влечение к изображению мира в любой доступной форме. У меня же это началось со знакомства с одним человеком, приехавшим после гражданской войны откуда-то из Сибири в то местечко, где я тогда жил. Вместо обычного скарба он привез с собой предметы для художества, несколько картин. Его пейзажи были первыми в моей жизни «живыми» творениями художника. Помню, что с особым удовольствием перелистывал я старые журналы с репродукциями картин известных мастеров. С детства меня влекло к рисованию. Но условий для развития дальнейшего интереса к этому не было.

А работы мои давние не сохранились. Во время войны я еще кое-что делал по рисовальной части. Но однажды сгорел «студебекер» с нашим солдатским имуществом и сгорел мой мешок, где был альбом с рисунками. С тех пор рисованием я не занимался.

— А что же все-таки заставило вас взять в руки перо? Вспомните об этом.

— Первый рассказ я написал на Курильских островах, где продолжал службу в первые послевоенные годы. Я, да и не только я, а многие из фронтовиков ничего о войне не читали и читать не хотели. Война была еще слишком жива в нашем сознании. Мы старались как можно скорее от нее отрешиться, прервать эту связь с прошлым. Но по прошествии некоторого времени я стал читать книги о войне, написанные писателями довольно известными, но я останавливал себя на том, что эти рассказы о войне меня не удовлетворяют. Мне казалось, то, что я читал, никак не соответствовало моему личному опыту, как-то все было не так и не то. Вот почему я попробовал из чисто полемических побуждений написать свой первый рассказ. Потом написал второй, третий. Конечно же, они были слабыми, плохими. Пытался я их напечатать, но из этого ничего не вышло. И на много лет я забросил попытки стать писателем. В 1955 году, демобилизовавшись, устроился на работу в газету, снова начал писать и даже опубликовал первую книгу рассказов. Правда, это были юмористические рассказы. Позже написал несколько вещей на молодежную тему. И только в конце пятидесятых прочно засел за военную тему.

«Я не люблю своего детства,— писал Быков.— Голодная жизнь, когда надо идти в школу, а нечего поесть и надеть... Единственное, что было отрадой,— это природа и книги. Летом озеро, лес, рыбалка. Если позволяло время, конечно. Ведь надо было работать. И надо, да и заставляли».

Родился Василь Быков 19 июня 1924 года на Витебщине. Сейчас в кинотеатрах Москвы идет двухсерийный кинофильм по одноименной повести писателя «Знак беды». Осень сорок первого... На хуторе, затерянном среди захваченных врагом белорусских земель, живут немолодые уже люди — Степанида и ее муж Петрок. К ним-то и приводят полицаи на постой немцев, вошедших в близлежащее село. Так вот, в образах четы Богатьковых — черты родителей писателя.

Произведения Василя Быкова широко известны. Но далеко не все знают, что о самом писателе написаны три монографии. В них, конечно же, есть и сведения биографические. Кое-что читатель, интересующийся творчеством Быкова, черпает из его статей и интервью с ним, которые, кстати, он дает нечасто. Поэтому я стал расспрашивать Василя Владимировича о его детстве, о его семье, о родителях. Спросил, есть ли у него дети и доволен ли он ими. Спросил о восприятии творчества, широкой известности у него на родине.

И, кстати, поинтересовался, понимают ли его земляки, люди, с которыми он встречается, живет, из судеб которых черпает материал для книг, понимают ли они значение литературы, писательского слова. Есть ли у них ощущение его необходимости?

— Родители мои — крестьяне. С ними я жил до войны. Отец умер двадцать пять лет назад, мать — три года назад.

У меня два сына, один военный, другой врач. Доволен ли ими, трудно сказать. Потому что у родителей к детям отношение все-таки пристрастное. И поэтому трудно избежать крайностей, недооценить или переоценить их. Но я полагаю, что их жизнь — это их дело. Коль они выбрали для себя этот путь, им же отвечать за этот путь. Я не вмешивался. Любой советчик всегда рискует. Рискует тем, что его совет может привести не туда, куда надо бы, и тогда это будет на его совести.

Известность ко мне пришла, может быть, в последние годы. Да я вообще думаю, что такие вещи, как известность, слава, простые люди не воспринимают. Я помню, как-то приезжал в родные края, и там с одним дядькой мы ездили рыбу ловить на озеро. Я тогда в газете работал. Он сказал: я знаю, ты пишешь, ну, а работаешь ты где? Я говорю: в редакции работаю. В редакции? Так ты пишешь там. А работаешь где же? Вот какой состоялся разговор. Человек, который всю жизнь работал физически, не может понять, как это за то, что ты водишь перышком по бумаге, тебе еще и деньги платят. Это так, дескать, твоя блажь личная, а работа — это другое. Хлеб ты должен зарабатывать своими мускулами.

Боюсь, что значение литературы в жизни народа все больше падает. Я вспоминаю годы своей юности, детства, когда книга была редкостью в деревне. И если она была, ее читали. Ее читали все: знакомые, родственники, товарищи, соседи. Причем читались все книги и в школьных, и в иных библиотеках.

Теперь же другая обстановка. В книжных магазинах сел и деревень много книг. Мы недавно пережили книжный бум. Сейчас он вроде бы спал. Но даже во время бума, я думаю, покупали много, но читали не так много. И сейчас село обходится телевидением, из которого черпает всю информацию об окружающем мире. Читают мало. Мало читают в школах. Школьники стараются не читать, а поскольку у нас вся классика экранизирована, обходятся без чтения книг. Это, конечно, плохо. Но выхода я здесь не вижу. Во всяком случае, в ближайшее время.

— Василь Владимирович, не посещает ли вас мысль, что может наступить такое время, когда люди вообще перестанут читать? В том числе и ваши книги. Такое может случиться?

— Вполне. Почему же нет. И об этом надо думать всем, кто причастен к книгоиздательской политике. С одной стороны, издатели не могут наводнять книжный рынок продукцией, которая не имеет спроса, не находит сбыта. Это было бы противоестественно экономически и, наверно, морально тоже. Но, с другой стороны, издатели не должны потакать современному массовому вкусу. Если идти по этому направлению, как на Западе, тогда литература превратится в китч, когда только псевдолитература будет иметь наибольшее распространение. Потому что, как ни странно, за многие десятилетия нашего культурного строительства культурный уровень массового читателя не очень-то поднялся. К сожалению, мы продолжаем распространять интерес к произведениям, которые никак этих усилий недостойны.

— Сейчас публикуются произведения, которые по разным обстоятельствам долго не выходили к читателю. Но раздаются голоса, в том числе и среди писателей: зачем такие вещи печатать, зачем заниматься литературным некрофильством? Ваша точка зрения на этот счет?

— То, что публикуются вещи прежних десятилетий, абсолютно правильно. Более того, было бы просто преступно игнорировать и дальше то хорошее, что было в нашей литературе. Неужели людям не понятно, что хотя бы во имя справедливости это надо сделать! Потому что на многие десятилетия многие писатели были вышиблены из круга российской словесности по разным причинам. Когда-то был вышиблен Есенин. Когда-то не издавали совершенно эпохальные вещи Бунина. Если бы продолжалась эта линия, какие бы невосполнимые потери понесла наша словесность! У нас почему-то довольно живуч старый обычай: очень уважают мертвых. Пока писатель живой, его могут не издавать, третировать, но после смерти вдруг обнаруживается, какой, оказывается, жил замечательный художник. Это относится к тому же Шукшину.

— Не оригинальный, но злободневно важный вопрос: что вы думаете о перестройке?

— Я думаю, что какие-то конкретные изменения ждут нас впереди. Новые веяния, тенденции доходят до глубинки с большим опозданием. Вот я на днях был в одном районе, разговаривал с первым секретарем райкома партии. Он в недоумении. На почве в ночное время заморозки. Кукуруза, посеянная в такую почву, непременно погибнет. Ее нужно будет пересевать. Но из области установка: закончить сев к такому-то числу. И это не только установка, а требование отчета о количестве засеянного. Да еще за каждый день. Что делать? Я ему говорю: так вы же имеете право сослаться на известные постановления по этому вопросу, давшие вам свободу действий.

Право-то правом, а к такому-то числу сев должен быть закончен. Значит, по-прежнему, как и десять, и двадцать, и сорок, и пятьдесят лет назад, продолжается одно и то же. Сильный, волевой нажим, определенные железные сроки, и ни дня позже, не считаясь ни со здравым смыслом, ни с погодными условиями.

— Вы часто выезжаете из Минска?

— Не так уж часто, но выезжаю. Ведь у нас еще остры проблемы, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС. И моральные, и бытовые... Люди живут, надеются на лучшее. И с ними надо общаться.

— В последнее время появились мнения вот о чем: не перебираем ли, дескать, мы через край, не слишком ли обнажаем наши раны, затянувшиеся и свежие? Что вы можете сказать по этому поводу?

— Я почти явственно вижу лица людей, выражающих подобное мнение, хорошо знаю их по годам «застойного» времени, для которого они немало потрудились, чтобы сделать его необратимо застойным. Неподвижность, окаменелость в теории и на практике — это их родная стихия, так неожиданно порушенная ныне ветром гласности. Если разобраться и трезво оценить наши трудности в деле перестройки, то, наверное, обнаружится, что самое сложное в ней именно преодоление махровой природы бюрократизма, упрямо цепляющегося за отработанные до высокого совершенства приемчики прошлого, главным из которых является пресловутое «не пущать и погонять». В течение последнего времени мне пришлось многое наблюдать на перепутьях судьбы одного из самых энергичных поборников перестройки, человека с международным авторитетом писателя-публициста, активного борца за мир и взаимопонимание между народами, всем известного Алеся Адамовича. Его активность, однако, во всех отношениях недешево ему стоила, отобрала массу физических и душевных сил, и вот все кончилось мелкой, но чувствительной для него местью: недопущением на очередной форум в США, куда он был приглашен с группой советских ученых. Чиновники из Академии наук БССР отказали ему в оформлении выездных документов под тем предлогом, что он слишком часто ездит и много выступает. Они уже регламентируют участие в перестройке, по-видимому, составляя графики неучастия в ней. Они сами молчат годами и того же добиваются от других, жадно дожидаясь момента, когда раздастся трубный голос отбоя, прекратится «разгул демократии», как они говорят, и все войдет в привычные берега мертвечины и сонного, однако такого комфортного для них благополучия. И еще. Если благородные идеи перестройки нашли в чем-либо свое наибольшее проявление, так это действительно в бурно развернувшейся гласности. Наша журналистика (внутренняя, конечно, международная отстает от нее на десятилетия), наша журналистика неожиданно и прямо-таки самоотверженно вырвалась в авангард гласности и вскрыла столько заботливо взлелеянных бюрократией социальных язв, развернула такую борьбу за правду и справедливость, что если даже она ничего больше не сделает, то оставит о себе память на десятилетия. В то же время, оценивая общий ход гласности, нельзя не заметить, что в последнее время появились признаки некоторой ее пробуксовки; накопление количества не всегда приводит к качественным изменениям, забрезжила опасность девальвации слов, правильных и нужных по существу, но не подкрепленных конкретными делами, что угрожает закончиться тривиальной говорильней. Последнее было бы весьма сожалительно, если не катастрофично для всего сложного и безмерно трудного дела перестройки.

— Я слышал такую легенду о Фолкнере. Когда он умер, в доме, где он жил, обнаружили комнату, почти сплошь заваленную письмами и рукописями читателей. Он не любил переписки. А вы, Василь Владимирович, отвечаете на письма или они вас не волнуют?

— Стараюсь отвечать, но не всегда могу это сделать. Особенно это относится не столько к письмам, сколько к бесконечной веренице бандеролей с рукописями, авторы которых напрасно полагают, что стоит известному писателю позвонить или написать «куда следует», и их рукопись тут же будет запущена в производство. Но есть письма, на которые не ответить невозможно, хотя, по существу, отвечать надо бы не мне, а кому-либо другому, кто имеет власти больше, чем ее есть у писателя. Но дело в том, что писатель в нашей стране по давней, не нами заведенной традиции в какой-то мере все-таки продолжает оставаться народным трибуном, своеобразным адвокатом народа, к которому обращаются люди, когда больше обратиться не к кому и все другие возможности обращения исчерпаны. Пишут не только с жалобами, не только по личным вопросам — государственные проблемы волнуют нынче не в меньшей степени. В этой связи мне хочется процитировать недавно полученное письмо от заместителя начальника производственного управления АвтоВАЗа Л. Голяса, который так пишет о недавно опубликованном проекте Закона о государственном предприятии: «Было время, когда административные методы действительно были необходимы. Это тот период, когда страна находилась в экстремальных внешних условиях. И речь тогда шла практически о выживании новой формации, а не о гармоничном развитии социалистического общества. Но те времена канули в Лету. Социализм сегодня — это необратимая социалистическая реальность. Мир давно изменился, а методы управления не претерпели адекватных новым условиям изменений. Проект закона в опубликованной редакции для утверждения не годится из-за того, что основан не на реальной действительности, как этого требует марксизм, а на концепциях утопического социализма. Достаточно ознакомиться с трудами Сен-Симона, чтобы увидеть эту связь». И далее на убедительном примере извлечения предприятием дополнительной прибыли тов. Голяс показывает всю абсурдность этого явления на базе искусственной кооперации. Доводы автора кажутся мне убедительными даже не для специалиста, они не убеждают лишь тех, кто, кроме своих цеховых (бюрократических) интересов, ничем больше не озабочен.

Мне думается в этой связи, что экономический застой и бюрократическое засилье невозможно преодолеть бюрократическими же, то есть чисто регламентационными методами. В последнее время обнаружила себя наша старая болезнь — усилившаяся приверженность ко всякого рода законам и законоустановлениям, которые во многих случаях есть детище бюрократии и служат лишь ее бюрократическим интересам. Из письма тов. Голяса видно, что мы в который раз сталкиваемся с необычайно живучим явлением, когда еще не введенный в действие закон в некоторых своих положениях уже вступает в противоречие с действительностью по той причине, что отражает в себе не завтрашний, а вчерашний день нашего развития.

Я сказал Быкову, что однажды выдающегося американского писателя Уильяма Сарояна спросили: может ли исчерпаться материал для творчества? Сароян ответил: нет, не может, ибо материал — это я сам, пока я жив, мне будет достаточно материала для книг. Василь Владимирович прокомментировал этот разговор следующим образом: «Сароян, как известно, большой художник нашего времени, и в таком своем качестве он сказал сущую правду. Как всякий реалист, он черпает свой материал из окружающего его мира, но не меньший мир заключен в нем самом, для выражения которого ему не надобно ничего больше, кроме самого себя и своего дарования».

А мне думалось, что В. Быков мог бы это же самое сказать и о себе. Во всяком случае, как кажется, материала, пережитого и перечувствованного им на войне (настолько он богат, многогранен, трагичен и гуманистичен), в нем, в человеке и художнике, предостаточно. Об этом говорят и все новые и новые произведения, связанные с войной. И последние из них — повести «Знак беды» и «Карьер», ставшие значительными достижениями современной литературы.

— Вы человек, не раз смотревший в глаза смерти. Скажите, о чем сегодня должен писать художник, чтобы помочь спасти мир от разрушения, от гибели? Или важнее не о чем писать, а как?

— На этот вопрос недавно хорошо ответил все тот же А. Адамович, выдвинувший в качестве гипотетического императива нашего времени надобность в появлении так называемой «сверхлитературы». Правда, его тут же оспорили, и, конечно, зря, потому что неверно поняли сам этот термин, истолковав его как призыв к чему-то ирреальному, небывалому в искусстве. А Адамович имел в виду вовсе не новый стиль или жанр, но новое качество. Он подразумевал под этим символом вполне реалистическую литературу, но литературу очень высокого гуманистического звучания—такую, которая в наше время, чреватое гибелью всего человеческого рода, сквозь потоки полуправды, лжи и прямого одурачивания миллионов пробилась бы к сознанию человечества, вынудив его остановиться у последней черты. Не знаю, как Адамович, но я склонен считать, что из произведений последних лет романы Чингиза Айтматова и Владимира Дудинцева приближаются к литературе такого рода, и в этом, несомненно, обнадеживающий знак для литературы будущего.

— Из одного интервью с вами я узнал, что вам близок по духу французский писатель-экзистенциалист Камю, известный и у нас в стране. Мне такое признание показалось интересным. Не могли бы вы подробнее пояснить, на чем основана эта близость?

— Камю причисляют к экзистенциалистам, когда сам Камю всячески это отрицал. Но в данном случае не так важно, что думает о себе автор. Все-таки он принадлежит этому течению, что общепринято. Самое главное — произведения писателя. Наше время сложно во всех отношениях. Сложность времени, его драматизм и трагизм Камю чувствовал, может быть, лучше других. И он создал, наверное, одно из лучших, самых лучших произведений нашего века — роман «Чума». Роман этот, конечно, при внимательном чтении отвечает на многие вопросы, которые стояли до нас и которые, наверное, останутся и после нас. Я теперь очень понимаю Твардовского, который когда-то говорил и писал, что «Чума» Камю является евангелием двадцатого века. Это совершенно справедливо. Человек может только или оставаться человеком, или перестать существовать. Так вот, со всей категоричностью, я думаю, очень убедительно Камю в своей «Чуме» показывает, что значит быть человеком в этих условиях.

— Ваши творческие принципы, кредо?

— Следование правде жизни — жесткой, нелицеприятной, грязной или чистой, прекрасной или уродливой — такой, какой она существует в жизни во всех ее взаимосвязях и проявлениях. У искусства есть лишь один способ добиться позитивного изменения в обществе — это показать общество таким, каким оно является на деле. Многолетний опыт развития нашей литературы красноречиво свидетельствует, что самым старательным образом сконструированный так называемый положительный герой не способен научить ничему ровным счетом, разве что доставит несколько комфортных минут читательскому сознанию, и все благие намерения автора повиснут в воздухе. Лишь показывая человеку его истинное лицо, можно надеяться на какие-то более-менее результативные импульсы с его стороны.

— У вас, как я знаю, была нелегкая жизненная и писательская судьба. И все-таки скажите, вы ощущаете правоту своего дела, правоту вашего таланта?

— Я, может быть, счастлив лишь тем, что первые пробы пера, как и вхождение в большую литературу, счастливо совпали с наступлением благоприятной атмосферы, вызванной решениями известных партийных съездов, в значительной степени оптимизировавших литературную судьбу многих.

О правоте? Вы знаете, естественно, в том деле, которым я занимаюсь, хотел бы оказаться правым. Если не перед лицом истории, то хотя бы в глазах моего изрядно прореженного войной поколения.

— У писателей фронтового поколения, таких, как Астафьев, Бакланов, Бондарев, издано по четырехтомному собранию сочинений. Ваш четырехтомник тоже вышел в издательстве «Молодая гвардия». Я поначалу задумался, почему у писателей фронтового поколения одинаковая продуктивность. А потом понял — это лимиты Госкомиздата. И уж совсем запутался: вот вы, скажем, как считаете — четыре тома сочинений к шестидесяти годам — это достаточно, чтобы в полном объеме предстать перед читателем?

— Я работаю не много. Не каждый день. Между повестями у меня всегда какие-то промежутки. Иногда они затягиваются на год-два. Иногда меньше. Можно интенсивнее работать. Но, с другой стороны, зачем? По крайней мере, «ни дня без строчки» — не мой девиз. Я полагаю, что надо писать тогда, когда повесть или роман в значительной мере созреет в душе и требует своего выхода. Если заранее этого не ощутил, то нечего торопиться. Обычно в таких случаях потом все приходится переделывать.

— Как вы считаете, может ли человек сжечь себя в искусстве?

— В наше время вряд ли. Современный человек сверх меры трезв и рационалистичен для того, чтобы позволить своему таланту сжечь себя без остатка, игнорируя свое привередливое, капризное эго.

— Самое сильное потрясение вашей жизни: встреча, событие, чья-то книга, чей-то поступок?

— Самое большое потрясение, я думаю, ждет меня, как, впрочем, и все человечество, впереди: это успех или неуспех нашей перестройки. При любом исходе тут не избежать потрясения положительного или отрицательного свойства, потому что слишком много на нее поставлено.

— Однажды я по-журналистски позавидовал Татьяне Земсковой, задавшей Валентину Распутину прямо в лоб такой категоричный вопрос: вы большой писатель? Так вот, многие считают, что Быков по-настоящему большой писатель нашего времени. В частности, так мне говорил Вениамин Александрович Каверин. Простите, Василь Владимирович, но... вы — большой писатель?

— Если мерить провинциальными масштабами, то тут я, наверное, лишь чуточку больше некоторых, но если иметь в виду Льва Николаевича или Федора Михайловича, то увы...

— Ощущаете ли вы, что годы бегут, что вам седьмой десяток, что многих друзей вы уже потеряли, что жизнь прожить — действительно не поле перейти?

— Некоторым образом я был счастлив тем, что встречался, общался, может быть, даже дружил с очень хорошими людьми, которые и память по себе оставили хорошую. Теперь казнюсь, что мало с ними общался. Многих мог бы назвать. Твардовского. Сергея Сергеевича Смирнова, который был прекрасным человеком, немало сделавшим после войны для ветеранов. С большой нежностью и горестью вспоминаю Кайсына Кулиева, поэта, замечательного человека. Жаль, что мы как-то редко виделись, я человек сдержанный, а Кайсын Кулиев был весь распахнут навстречу, и все его добрые чувства проявлялись сразу. Сейчас чувствую, что надо бы больше дорожить людьми, хорошими людьми, их добрыми чувствами. Все-таки жизнь коротка, и надо не сожалеть потом, что мало успел сказать добрых слов людям.

В последние годы я все чаще стал ощущать, что мне далеко уже не двадцать,— большей частью, разумеется, в физическом смысле. Кроме того, пришло явственное осознание безмерной наивности молодых лет по отношению ко многим явлениям жизни. Наверное, в этом и заключается некоторый признак поумнения. И постарения тоже...

Эти слова Василь Владимирович говорил мне, когда мы шли из Дома литераторов в маленький скверик возле старинного здания, описанного в «Войне и мире», как дом Ростовых. Присели на лавочку возле памятника Льву Толстому.

— Весна в этом году запаздывает и у нас, в Белоруссии, и здесь, в Москве,— сказал Быков.— Травы зеленой еще не видно.

А мне почему-то вспомнились две строки из Вяземского: «Она себя лишь любит в мире. А там хоть не расти трава». И только что произнесенные слова моего собеседника, современника напоминали о том, что жизнь все-таки слишком коротка и надо думать о добре. Не себя любить, а ближнего своего, человека любить. Чтобы потом, после всего, после тебя взошла на земле зеленая трава памяти. Трава после нас.

Феликс МЕДВЕДЕВ

Фото Льва ШЕРСТЕННИКОВА

Начало см. на II стр. обл.

одним из первых, удовлетворенно говорил: правильно это, что называют кандидатов не где-то в кабинетах, а здесь, на сходе, что обсуждают предложенных в Совет всем миром и всем миром решают, кому быть вписанным в избирательный бюллетень. Ну, а если большинство признало, что кто-то достойней твоего кандидата... В конце концов не последние же выборы. Главное, демократия теперь реальная.

Таково мнение всего собрания.

Прекрасно прозвучали слова Надежды Степановны Трусковской: демократию мы должны отстаивать своим трудом, тогда и цена ей определится настоящая!

Тут есть над чем думать. Никто на собрании не упрекал Красненский сельский Совет в бездеятельности, в безразличии к нуждам людей, в оторванности от масс. Напротив. Знают во всех двадцати трех деревнях о том, как много сделали исполком, депутаты по социальному обновлению жизни селян, по культурному развитию деревень, по их благоустройству. Помнят, как пришло в голову недальновидным администраторам закрыть в Тудорове отделение связи, по их словам, нерентабельное, а депутат сельсовета Тамара Николаевна Лейко взялась доказать, что нерентабелен подобный подход к потребностям тружеников — крестьян, нашла поддержку в исполкоме сельсовета, в районе, и отделение связи восстановили.

Помнят, как депутат сельсовета, почтальон из Кальчичей Зинаида Петровна Божко хлопотала, чтобы хлеб в сельмаг привозили вовремя, а не подводили население, ссылаясь на ремонт хлебокомбината.

Помнят, что депутат сельсовета, работница бухгалтерии Мария Владимировна Лопатко ни на один день не прекратила депутатской деятельности, хотя рождение сына давало ей законное основание на перерыв...

Знают в округе о неуемном характере депутата Манефы Ефимовны Кохан — члена исполкома сельсовета, заведующей Тудоровской библиотекой.

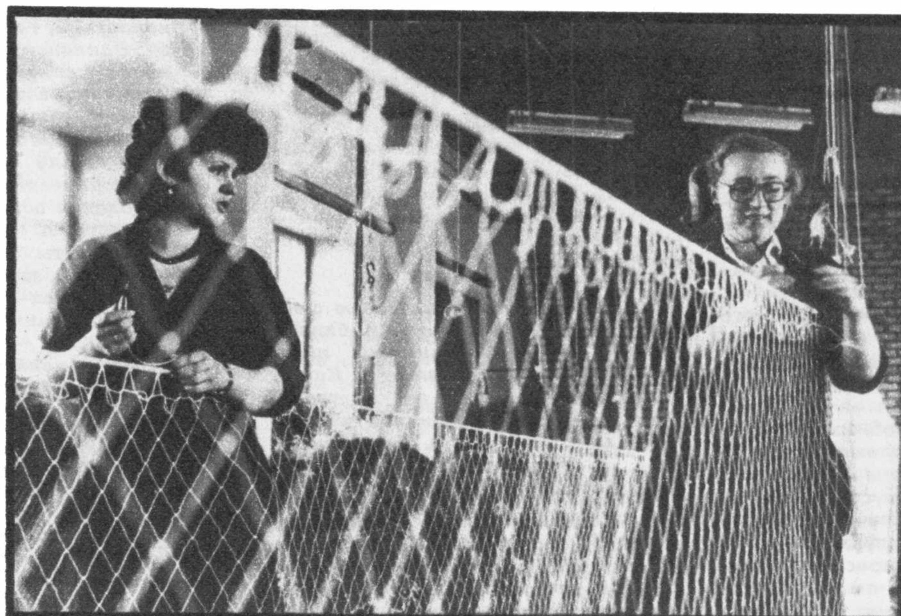
Но жизнь все настойчивее требует более масштабного, глубинного подхода к сельским проблемам. Мало добиться, чтобы нетерпеливые подталкиватели прогресса не заносили руку на так называемые неперспективные деревни. Нужно жизнь в них сделать современной, удобной, красивой. А тут уйма нерешенного! А сколько еще общесловесного, лишь контурного в планах социального переустройства сел, а потому не всегда эффективна практика их осуществления. Дорогие клубы, например, доступны сейчас очень многим хозяйствам. А вот вдохнуть в них настоящую жизнь... Тут и проблемы кадров культпросветработников, и проблемы свободного времени колхозников, и проблемы готовности города помочь селу воспользоваться плодами цивилизации и в то же время сохранить богатство традиций, не утратить того, что питает корни крестьянства.

Или взять проблемы формирования личности современного селянина. Заработки в колхозе высокие, а расходы колхозников на пищу духовную скупы и растут удручающе медленно, молодые колхозники не хотят строить собственные дома, обзаводиться хозяйством — предпочитают позиции городских квартиросъемщиков и покупателей, иные (таких больше, чем хотелось бы колхозу) ездят работать в районный центр, а живут в основном за счет родительской усадьбы и благ, которыми платит за труд на ней земля...

Об этом на предвыборном собрании говорилось мало. Жаль! Но что поделаешь — есть тому объективная причина. Людей отучили разбираться по-хозяйски в общественных явлениях, в общественной жизни, в ее динамике, требованиях, перспективах. Им слишком долго не прививали вкуса к коллективной активности, к коллективной ответственности за ход экономических и социальных процессов, вкуса к коллективному творчеству на ниве социалистического переустройства деревенского бытия. И в этом отношении предвыборное собрание в Остухове очень поучительно. Оно стало добрым уроком демократии. Доверие народу умножило его доверие своим избранникам. Это чрезвычайно важно!

Следующий урок — встречи кандидатов в депутаты сельского Совета с избирателями. О нем мы тоже расскажем в нашем журнале.

Кореличский район
Гродненской области





«ОГОНЕК» НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ОХОТА

Вильям СМИРНОВ **Фото Юрия ЛУНЬКОВА**

ДНИ И ЗАБОТЫ ПЕТРА ЧЕРНЕЦКОГО

Боюсь, читатель посетует: обещал автор рассказать о замечательных людях, что обживают суровый край, а на поверку выходит, все здесь не так уж и весело. С рыбой — прорыв, в оленеводстве — одни прорехи... Чем же замечателен здешний народ? В том-то и дело, люди здесь прекрасные, а на беду бороться им приходится не только с неласковой природой, но еще больше — с бездушием бюрократов.

Расскажу подробно о Петре Максимовиче Чернецком — председателе рыболовецкого колхоза имени Вострецова. Почему именно о нем? Думаю, что судьба его, заботы и помыслы о дне завтрашнем типичны для большинства нынешних старожилов Охотии.

Как-то сотрудник одной из центральных газет, куда Петр Максимович обратился со своими председательскими нуждами, посоветовал ему: «А вы у эстонцев, у колхоза имени Кирова, перенимайте опыт».

Знаменитый коллектив и его председателя Оскара Петровича Кууля знаю хорошо. Но разве можно Эстонию с ее высокоразвитыми промышленностью, транспортом, сетью дорог сравнивать с Охотским районом, который с точки зрения географии — физической и экономической — почти сплошное «белое пятно»? С центральной усадьбы колхоза имени Кирова открывается прекрасный вид на панораму старого Таллина. А Чернецкий, если выглянет в окно, увидит или бушующее Охотское море, или засыпанную снегом тундру.

Правда, в хорошую погоду с побережья можно разглядеть силуэты судов на Охотском рейде. Но, чтобы добраться до районного центра, председателю надо немало попотеть. Помнится, в последний раз мне удалось одолеть отделяющие Вострецово от Охотска километры за четыре часа. Ехал с геологами на крыше гусеничного транспорта, через Охоту перебрался на «амфибии», шел пешком, трясся в кузове попутного грузовика, и, наконец, вертолет перебросил меня на противоположный берег Кухтуя. Нет, не так-то просто перенимать Чернецкому опыт Кууля. Вся их схожесть лишь в том, что оба хозяйства — рыболовецкие, да находятся на самых краешках нашей огромной страны. Вот только края разные...

См. стр. 20, 21.

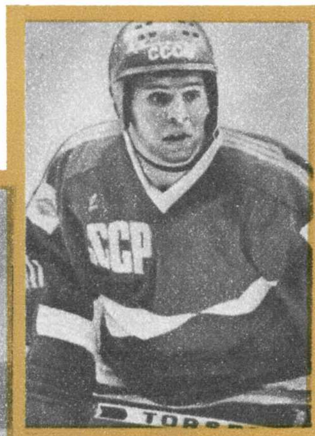
Человек уходит в море,
чтобы вернуться к родному берегу.
Где, как и в старину,
жены вяжут сети,
а дети играют в моряков...





ПУЩЕ НЕВОЛИ

(Продолжение. Начало см. «Огонек» № 17 и № 18)





На снимках: момент игры СССР — Швеция; Владимир Крутов — лучший нападающий чемпионата.

Фото ТАСС

КАК И ОЖИДАЛОСЬ...

В летописи хоккейных первенств мира и Европы перевернута еще одна страница. Золотые медали финишировавшего в Вене мирового первенства четверть века спустя после последнего подобного успеха завоевали шведы. Серебряные — у нашей команды. Бронзовые — у сборной ЧССР. Награды континентального турнира разобрали команды СССР, ЧССР и Финляндии.

Почти три недели продолжались в столице Австрии ледовые баталии. Были, конечно, и проходные матчи, победителей в которых без труда вычисляли заранее. Но состоялось, и много больше, нежели на предыдущих таких турнирах, боевых встреч, державших от начала до конца в напряжении зрителей, проявлявших большой интерес к состязаниям хоккеистов.

Сражения шли не только на ледовых аренах, но и за... столом директората чемпионата. Автору этих строк на некоторое время из спортивного журналиста пришлось переквалифицироваться в судебного репортера. В коротких словах напомню суть дела. Финская делегация подала протест в связи с тем, что один из форвардов сборной ФРГ был допущен к играм вопреки правилам. Директорат изгнал с чемпионата игрока и лишил сборную ФРГ очков за выигрыш у финнов и первую в истории западногерманского хоккея победу над канадцами. Наказанные обратились в... Венский окружной суд, который отменил решение директората чемпионата. Тяжба продолжалась несколько дней, но в конце концов, на мой взгляд, восторжествовала справедливость. Было несколько тревожных дней, когда финская делегация грозила отъездом с чемпионата, а возмущенные болельщики сборной ФРГ звонили в редакции венских газет, предупреждая, что... взорвут стадион, и несколько дней его охраняли усиленные наряды полиции со специально обученными для обнаружения взрывчатки собаками. В истории хоккейных чемпионатов случалось всякое, а вот теперь еще в анналы войдет и «Чемпионат с судебными заседаниями». Все это, конечно, быстро надоело, и единодушным стал призыв: «Хватит судебных разбирательств, давайте играть в хоккей!» К счастью, он был услышан, и финиш чемпионата получился интересным, боевым, но, к сожалению, как многие и ожидали, победным не для сборной СССР. Еще хорошо, что наша команда «серебряная», а то всего за шесть минут до окончания последнего матча была лишь «бронзовой». Второй раз за последние три года советские хоккеисты остались без главных наград чемпионата мира. Можно говорить, что наша команда была близка к золотым медалям, но так же недалеко находилась она и от четвертого места.

К нынешнему чемпионату мира и Европы сборную СССР, как обычно, готовили на протяжении всего сезона—долго и тщательно. В матчах турнирных и товарищеских испытанию подверглись 34 кандидата в сборную — три вратаря, дюжина защитников и девятнадцать форвардов. Костяк команды сохранился, и искали лишь молодое, талантливое пополнение. Так и не нашли, пригласили ветерана Билялетдинова, в последний момент и еще одного испытанного бойца — Варнакова. Хотя, как показали матчи «Рандеву-87», в нынешнем сезоне по большому счету сборную устроить они не могли. Жаль. Думается, среди молодежи были достойные кандидаты, как, например, динамовцы Семак, Татаринов, тройка из «Крыльев Советов»: Пряхин — Немчинов — Хмылев. Трое из этих пяти были включены в сборную, но без своих постоянных партнеров себя проявить не смогли. А уж если брать кого-то из ветеранов, то прежде всего надо было пригласить прекрасно игравшего на финише чемпионата Дроздецкого. Но от его услуг отказались.

Несколько настораживал «баланс» сборной СССР при подготовке к чемпионату: выиграли четырнадцать встреч, одну свели вничью и пять проиграли. В преддверии чемпионата в двух матчах со шведами сумели один свести к ничьей 4:4, а второй проиграли 1:2. Нас успокаивали: команда играла «под нагрузкой» после тяжелых тренировок по физической подготовке, во второй половине апреля все придет в норму.

В Вену сборная СССР прилетела в ранге чемпиона и в качестве фаворита. Некоторые зарубежные журналисты даже заявляли, что «чемпионат станет для русского медведя приятной пасхальной разминкой». Писали, правда, и по-иному. У сборной СССР серьезные соперники — команды Чехословакии, Швеции, Канады. Весь вопрос, сумеют ли они остановить «КЛМ-линию» (так по аналогии со знаменитой голландской авиакомпанией именуют звено Крутов—Ларионов — Макаров), или «спутники» их вновь оставят позади.

В сборной СССР еще до старта выделяли ударное звено форвардов и пару защитников — Фетисов—Касатонов, позже стали выделять и вратаря Белошейкина. Но более никого, а ведь в команде не шесть хоккеистов, а почти вчетверо больше.

Несколько слов о соперниках. Возможностью привезти на чемпионат всех лучших хоккеистов располагали практически лишь наши тренеры В. Тихонов, В. Юрзинов и добавившийся к ним недавно И. Дмитриев. (По этому поводу коллега полушутя-полусерьезно заметил: в Вене проходило три чемпионата мира и Европы, в 1967 году его выиграли под руководством А. Чернышева и А. Тарасова; в 1977 году проиграли, когда было три тренера: Б. Кулагин, К. Локтев и В. Юрзинов; теперь снова у руля «триумвират».) У шведов за океаном играют двадцать пять лучших хоккеистов. В Вену они смогли заполучить лишь трех. Фактически второй сборной были представлены и финны, у которых в НХЛ выступает полтора десятка лучших мастеров. В частности, партнеры легендарного Гретцки — финские форварды Курри и Тикканен. Сильнее могли выглядеть сборные ЧССР и США, а канадцы вообще были представлены сборной из... второго десятка. В частности, из команды «звезд НХЛ», что играла в Квебек-сити на «Рандеву-87», были лишь Дайнин и Мюллер. Как очевидец февральских матчей, могу сказать, что там они особенно не выделялись, а в столице Австрии были на первых ролях. Особенно ощутимой для канадцев была потеря отказавшегося приехать в Вену Лемье. У него не сложились отношения с тренером Д. Кинном, ранее не оценившим талант юного форварда. Помнится, коллега из канадской газеты чуть не со слезами на глазах сетовал: "У Лемье нет сердца!»

На чемпионате в Вене наша команда довольно надежно действовала в обороне. Не раз выручал партнеров Белошейкин, а вот в атаке быстро обнаружились проблемы, которые так и не удалось решить. Проблемы эти, собственно, обнаружились гораздо раньше, но на чемпионате стали особенно заметны. Речь, как, видимо, многие догадались, идет о том, что в противоборстве с главными соперниками забрасывать шайбы у нас могут в основном форварды звена Ларионова. Не оправдали надежд нападающие тройки Быкова. Не получилась игра у третьего и четвертого звеньев. Да и как она могла у них получиться? Молодые форварды «Крыльев Советов» были разбросаны по разным тройкам, динамовцам тоже не дали выступить сыгранным «квинтетом», какой могла быть, например, пятерка: Светлов — Семенов — Семак, Первухин — Татаринов.

С середины чемпионата день ото дня стала возрастать нагрузка ударной «пятерки». Нередко они проводили на льду чуть ли не по полматча, их посылали в бой и в большинстве, и в меньшинстве. Такое напряжение выдержать практически невозможно. Не надо при этом забывать, что Фетисов, ветеран сборной, играл в Вене еще десять лет назад, с 1978 года выступает на чемпионатах мира Макаров. Все равно «КЛМ-линия» вместе с Фетисовым и Касатоновым по всем показателям была абсолютно лучшей на чемпионате в Вене, но о нашей команде в целом этого, увы, сказать нельзя.

Сборная СССР — это лишь самая вершина солидной пирамиды отечественного хоккея, популярнейшей у нас, ныне почти круглогодичной спортивной игры. Если уж для вершины не хватает талантливых игроков, то как же обстоят дела у подножия? Плохо. И не первый сезон. Об этом не раз говорили и писали, но те, от кого зависит выправить дело, ничего не хотят предпринимать, а лишь хулят «критиканов» — представителей спортивной общественности и журналистов. В чемпионате страны команды играют в неравных условиях: одним — все, другим — ничего. В Вену пришло сообщение о том, что «Трактор» распрощался с высшей лигой. А ведь в Челябинске вырастили многих игроков для сборной СССР — Макарова, Быкова, Старикова, Мыльникова, выступавших в Вене. Лучших из «Трактора» забрали в ЦСКА. Остался, правда, в клубе, несмотря на все приглашения и посулы, вратарь Мыльников. Так что сделали: переходные игры назначили как раз на те дни, когда опора команды — вратарь уехал на чемпионат мира.

Пополняются у нас лучшими игроками команды, и без того располагающие хорошим подбором хоккеистов. Вот и получается, что ЦСКА и «Динамо» забронировали за собой первое и второе места в чемпионатах страны. Естественно, такое предсказуемое первенство не вызывает интереса у любителей спорта, и их число на трибунах тает год от года. Почему у нас стало меньше интересных молодых игроков? А никому неохота работать «на дядю». Сейчас ведь как. Вырастишь классного хоккеиста, а его тут же у тебя и уведут. Так было со многими игроками из Ленинграда, Челябинска, Пензы, Воскресенска, Уфы... В ЦСКА сейчас стало чем-то вроде традиции формировать звенья по принципу: свой игрок, хоккеист из «Химика», форвард из «Трактора». Назову фамилии: Крутов (свой) — Ларионов (из «Химика») — Макаров (из «Трактора»), Хомутов (свой) — Быков (из «Трактора») — Каменский (из «Химика»).

К В. Тихонову претензий нет. Он делает все для ЦСКА, как и положено тренеру команды, а вот то, что в Госкомспорте СССР предоставляют особые права одному-двум клубам, вызывает глубокое возмущение спортивной общественности. В нынешнем сезоне наши сборные команды проиграли все крупнейшие соревнования: юноши семнадцати лет заняли второе место на турнире «Дружба» социалистических стран, команда восемнадцатилетних осталась третьей на чемпионате Европы, молодежная сборная СССР заняла лишь шестое место на чемпионате мира, а позже была и вовсе дисквалифицирована. И, наконец, сборная СССР рассталась с титулом первой команды земного шара. Требуется, и срочно, принимать решительные меры по реконструкции нашего хоккейного дела.

Владимир ДВОРЦОВ,
спортивный обозреватель ТАСС —
специально для «Огонька»



В. Ф. ЖЕМЕРИКИН. Род. 1942.
МАРТ 1944 ГОДА. 1985.

Горьковский живописец, заслуженный художник РСФСР Вячеслав Жемерикин в 1972 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Картина «Март 1944 года» характеризует его как последовательного продолжателя традиций социалистического реализма.



В. А. ТОВСТИК. Род. 1949.
ВЕСНА 1945 ГОДА. 1985.

Владимир Товстик окончил Белорусский театрально-художественный институт, живет в Минске. Работает в жанре станковой живописи, обращаясь к темам большого общественного звучания.

ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

РУССКАЯ МУЗА XX ВЕКА

ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

(Ефим Алексеевич Придворов)

1883—1945

Псевдоним не случаен, ибо поэт родился в семье крестьянина-бедняка. Вступил в партию большевиков в 1912 году. Сотрудничал как поэт в газете «Правда» с ее первого номера. Творчески применил приемы народного лубка в революционной агитации. Во время гражданской войны был самым популярным поэтом среди бойцов Красной Армии, многие из которых учились читать по его стихам. По воспоминаниям Горького Ленин «усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил: — грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди». В тридцатые годы Д. Бедный подвергался резкой критике, и имя его постепенно отходило в тень. Однако в момент опасности для Родины боец тряхнул стариной и написал в 1941 году снова широко прозвучавшие стихи «Я верю в свой народ».



ГЛАВНАЯ УЛИЦА

ПОЭМА

1917—7 XI—1922 г.

Трум-ту-ту-тум!
Трум-ту-ту-тум!
Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут.
Идут,
Идут
На последний, на главный редут.

Главная Улица в панике бешеной:
Бледный, трясущийся, словно помешанный,
Страхом смертельным внезапно ужаленный,
Мечется — клубный делец накрахмаленный,
Плут-ростовщик и банкир продувной,
Мануфактурщик и модный портной,
Туз-мехоаащик, ювелир патентованный,—
Мечется каждый, тревожно-взволнованный
Гулом и криками, издали слышными,
У помещений с витринами пышными,
Средь облигаций меняльной конторы,—
Русский и немец, француз и еврей,
Пробуют петли, сигналы, запоры:
— Эй, опускайте железные шторы!
— Скорей!
— Скорей!
— Скорей!
— Скорей!
— Вот их проучат, проклятых зверей,
Чтоб бунтовать зареклися навеки!—
С грохотом падают тяжкие веки
Окон зеркальных, дубовых дверей.
— Скорей!
— Скорей!
— Что же вы топчетесь, будто калеки?
Или измена таится и тут!
Духом одним с этой сволочью дышите?
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Вот они... Видите? Вот они, тут!..
— Идут!
— Идут!

. . . .

Снова...
Снова.
Бьет роковая волна...
Гнется гнилая основа...
Падает грузно стена.
— На!..
— На!..
— Раз-два,
Сильно!..
— Раз-два,
Дружно!..
— Раз-два,
В ход!!
Грянул семнадцатый год.
— Кто там?
Кто там
Хнычет испуганно: «Стой!»
— Кто по лихим живоглотам
Выстрел дает холостой?
— Кто там виляет умильно?
К черту господских пролаз!
— Раз-два,
Сильно!..
— Е-ще
Раз!..
— Нам подхалимов не нужно!
Власть — весь рабочий народ!
— Раз-два,
Дружно!..
— Раз-два,
В ход!!
— Кто нас отсюдова тронет?
Силы не сыщется той!

Главная Улица стонет
Под пролетарской пятой!!

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

1904—1984

Один из организаторов объединения комсомольских поэтов «Молодая гвардия». Наибольшую популярность завоевал лирической поэмой «Гармонь» (1926). Песня Жарова «Взвейтесь кострами...» долгое время была гимном пионеров. В тридцатые годы впал в псевдоромантическую риторику, и его популярность стала падать. Во время войны Жаров написал ряд патриотических песен, среди которых «Заветный камень», ставшая после утесовского исполнения почти народной.



ИЗ ПОЭМЫ «ГАРМОНЬ»

Отвечает Тимофей
Коротко и ясно:
— Это очень хорошо,
Хорошо-прекрасно.

Было время — поплясали.
А теперь уж дудки.
Что за музыка — гармонь?
Просто... предрассудки...

Есть хороший мой проект
В комсомольском штабе:
Чтоб гулянки отменить
В волостном масштабе.

А замест гулянок тех
Обучать вас надо —
На собраньях посещать
Лекции, доклады.

Так займемся мы всерьез
Мозговым ремонтом.
Каждой девке надо быть
Девкой... с горизонтом.

Это будет хорошо,
Хорошо, отлично,—
Заявляю вам конкретно
И категорично.

Среди девок кутерьма:
— Тимофей сошел с ума!

Припустилися бежать,
Только пыль клубится.
— Бабку, что ль, к нему позвать
Иль везти в больницу?

Донести в совет — резон,
Он ведь там — начальник...
Намекнул... про горезонт...
Этакий охальник!

ИВАН ДОРОНИН

1900—1978



Член группы пролетарских писателей «Рабочая весна». Хотя Маяковский иронически обессмертил Доронина выражением «утомительно и длинно, как Доронин», эта оценка была, на мой взгляд, полемически жестокой. В самом известном произведении Доронина «Тракторный пахарь» много сочных кусков, один из которых мы приводим.

* * *

— Трахтор,
Трахтор...
Эна
Вон...
Вон у той дубравы...—
Глянул:
В самом деле он
Лезет из канавы.

Голова — копна,
А уши —
Будто два столба.
Целиной ползет
И душит
Спелые хлеба.

Я подумал:
Этот слон,
Знать, пошел войною...
На село бегу,
А он
На село за мною.

У загона
Смял корову,
Подломил рябину.
У Груняшки Чубаровой
Хату опрокинул.

Всполошились все,
Бегом
Бросилися к лесу:
«О-го-го!»
«О-го-го!»
Будто воют бесы.

Бьется тетка Катерина:
«Экая оказия!
По сараям,
По овинам
Трехторина лазяя».

«Марья,
Марья,
Крышу сроя,
Притулиться где бы нам?»
«Придави тебя горою,
Этакого демона»...

На низу
Гогочут гуси,
Валят гуси валом.
А я будто не боюся,
Мне и горя мало.

У двора стою,
Гляжу:
Что такое значит?..
Неужели эта жуть
На меня наскачет?..

Валентина ПОНОМАРЕВА

УЧАСТОК

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

С НЕКОТОРЫХ ПОР НЕ ЛЮБЛЮ ЧИСЛО «ТРИНАДЦАТЬ» И МЕСЯЦ МАЙ. НЕ В СУЕВЕРИИ ДЕЛО. А В ОДНОМ ВЕСЬМА МАЛОПРИЯТНОМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕ — 13 МАЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МОСКОВСКОГО САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА УТВЕРДИЛО МЕНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ. ВПРОЧЕМ, В ТОТ ДЕНЬ Я ЕЩЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА, КАКАЯ МАЕТА ЖДЕТ МЕНЯ. ГОЛОВА БЫЛА ПОЛНА РАДУЖНЫХ ПЛАНОВ И ДЕРЗКИХ ЗАМЫСЛОВ, А СЕРДЦЕ ГОРЕЛО ОГНЕМ НЕИСКУШЕННОГО ЭНТУЗИАЗМА.

●

Товариществу нашему шел тогда второй год от рождения, но у меня было уже два предшественника. Мужчина сдался почти сразу. Женщина сумела продержаться дольше и оформить всю необходимую документацию: утвердить генеральный план застройки, проекты на дорогу, водопровод, электричество.

Наверное, она смогла бы сделать гораздо больше, но слегла от нервного истощения. Тому, кто удивится, рекомендую в порядке эксперимента согласовать хоть одну бумагу в «двадцать одной» инстанции. Бывшему нашему председателю пришлось не раз пройти по этому кругу. Добавьте сюда остроту внутренних отношений в товариществе на первых порах; вот вам и диагноз.

Но я-то знала, что пора согласований и утверждений позади, что меня ждет чистое дело, а не бумажная волокита. Для начала надо было добиться; чтобы возобновились прерванные мелиоративные работы.

Участок нам достался — болото с редким кустарником по краям. Когда выходили на первые воскресники по расчистке территории, не всякий отваживался дойти до середины: болото пружинило, как плохо натянутая сетка батута, дышало тяжкими испарениями, а ноги мгновенно засасывало по щиколотку. (Зато в первую осень оно щедро одарило будущих садоводов клюквой.)

Нужна была хотя бы частичная мелиорация, чтобы приступать к разделу «болотного клина» между членами товарищества. Для этой цели мы объединились с соседями, такими же «безлошадными»: ни собственной техники, ни автотранспорта, ни стройматериалов.

У нас был общий генплан, договор о взаимодействии и в сумме 15 га невозделанной территории (не могу сказать «земли», потому что ее почти не было, кое-где шест уходил на полтора метра, прежде чем натыкался на что-то твердое, как потом оказалось, песок).

Наш «уголок» был последним в большом массиве, отведенном для садоводческих товариществ. С тоской смотрели мы «за канаву», где уже росли дома, денно и нощно слышался веселый перестук топоров. Там обосновались садоводы от крупных заводов, у которых были и механизмы, и автомашины, и деловые связи с управлениями механизации и передвижными механизированными колоннами. Задолго до нашего появления они прокопали свои канавы, уже заканчивали отсыпку дорог.

Местное управление механизации, проводившее там работы, согласилось помочь и нам. Мне неизвестны обстоятельства заключения договора (инициаторами были соседи), знаю только по счетам, что сумма за рытье канавы управлением была затребована чудовищная. Но выбора у «неимущих» не было. Мы все равно радовались, когда в первую зиму на необитаемом болоте зарокотал, наконец, экскаватор и трехметровая канава стала потихоньку окаймлять нашу территорию. В помощь механизатору садоводы выделяли ежедневно дежурных. Дело двигалось, если они успевали застать экскаваторщика трезвым. Но если он «принимал для сугреву» — пиши пропало.

Оставалось каких-нибудь двести метров, чтобы сомкнулись края канав и наши 15 га стали бы «островом», но очередной дежурный не успел на нужную электричку. Когда же он появился на участке, экскаватор черпал песок из котлована и грузил невесть откуда взявшийся самосвал. Водитель его, вступивший в долю с экскаваторщиком, продавал песок налево и направо. Указа об усилении борьбы с извлечением нетрудовых доходов тогда еще не было, и, когда дежурный попытался устыдить рвачей, те показали ему спину.

На следующий день экскаватора на участке уже не было, и болото наше затихло до самой весны...

Таким оно и оставалось до начала моего председательства. У соседей к тому времени тоже сменился глава правления. И вот мы, два новичка, стали обивать порог управления механизации, прося продолжить работу. Начальник управления нас избегал. Оно и понятно: наши предшественники по неопытности уже перевели на счет подрядчика деньги за рытье канавы в надежде, что сотрудничество будет длительным и означенное управление механизации, как обусловлено в договоре, построит нам еще и дорогу.

Нам для начала пытались внушить: сами, мол, отказались от техники. А когда мы мягко намекали, что не все ладно в управлении с трудовой дисциплиной, нам ехидно советовали: поищите другого подрядчика, который рискнул бы повесить себе на шею неплановый объект.

Однажды мы поймали неуловимого начальника на совещании в тресте. Он явно смутился, увидев нас (еще, чего доброго, в тресте узнают о его делах на стороне), и согласился, наконец, выехать на «неплановый объект» и определить объем предстоящих работ.

Появился он с прорабом, походил по нашему болоту и пообещал при первой же возможности прислать землеройную технику. Но шла неделя за неделей — механизмов не было. Телефонные переговоры с прорабом не обнадеживали. Робкие наши упреки: «Вы же обещали...» — вызывали шквал эмоций: «Что я вам пионер, чтобы обещания выполнять!»

В разгар лета мы окончательно поняли, что надеждам не суждено сбыться. Представители двух правлений посетили немало различных контор и везде либо получали отказ, либо условия договора были просто кабальными. Например, в одном месте в придачу к оплате за работу запросили с нас четыре свободных участка.

Вообще принцип «вы — нам, мы — вам» во многом определяет наши отношения с подрядчиком. Ни с чем придешь, ни с чем уйдешь. А с чем ходить мне, рядовому работнику пера?

Обращались мы в управление кооперативного хозяйства, которое осуществляет координацию деятельности садоводческих товариществ. Но это солидное учреждение не могло помочь нам в главном — в освоении отведенных земель, в строительстве таких важных объектов, как подъездная автодорога, водонапорная башня, дренажная сеть... Прошел было слух, что там собирают заявки на строительство дороги. Но вскоре выяснилось, что если это когда-либо и случится, то не раньше следующей пятилетки.

Районное общество садоводов, членом которого сразу же стало наше товарищество, было и вовсе бессильным. Оно лишь давало адреса, где можно было приобрести саженцы («самовыкопом», главным образом), необходимые химикаты, удобрения. А еще организовывало осенние выставки даров природы, но до этого нам было пока далеко.

По существующему положению, я как председатель не имею права привлекать к работе неспециализированные предприятия. Дорогу должны строить дорожники, электропроводку тянуть электрики, домики возводить строители. Все правильно, за исключением одной малости: специализированные организации и предприятия вовсе не обязаны идти мне навстречу.

Вот как завязывались наши отношения с одним из таких предприятий, имеющим необходимую нам болотную землеройную технику.

Заготовив у себя бумагу с общепринятыми тремя подписями (партком, профком, администрация), пошли мы с соседом (председателем) к директору.

И он сразу резко отказал. Мы как можно деликатнее повторили просьбу. Без каких бы то ни было гарантий нас направили к главному инженеру. Тот повертел в руках заявку, потом подписал в уголке: «Начальнику мехмастерской. По возможности помочь». Окрыленные, мы кинулись в мехмастерскую. Молодой и какой-то стеснительный начальник долго скреб в затылке:

— Согласится ли Егорыч? — наконец промолвил он.

После осмотра местности начальник мехмастерской назвал сумму, которую мы должны были внести наличными в кассу предприятия (не очень, правда, большую, но без всяких договоров на бумаге). Оставалось только назначить день и час начала работ. И тут Егорыч изрек:

— Рупь — кубик.

Мы не сразу поняли, о чем это он. Начальник в смущении потупил голову: его дело — сторона. Егорыч охотно пояснил нам: помимо тех наличных денег в кассу, мы должны ему лично уплатить за выемку каждого кубометра грунта ровно рубль. Километр кювета — тысяча рублей в кармане.

Попытались урезонить делягу: ведь техника-то государственная, не имеем мы права заключить с ним трудовое соглашение.

— А вы оформите как ручной труд, — не моргнув глазом парировал экскаваторщик.

— Да это же грабеж! — тут уж мы не выдержали.

— Не хотите, как хотите, — безучастно пожал он плечами и укатил на мотоцикле со своим стеснительным начальником. Больше мы с ними не встречались.

Такая вот «специализированная» технология.

Не раз и не два тогда подумалось: ну почему, хотя бы в порядке эксперимента, не создать управление механизации или даже трест, специализированные на обустройстве садоводческих товариществ? При размахе садово-огородного дела в той же Московской области неужели такое производственное подразделение не оправдало бы себя?

Исполком Мособлсовета в одном из своих постановлений отмечал, что при проверке садовых товариществ за небольшой период были выявлены сотни нарушений законодательства о коллективном садоводстве. Думаю, что не менее красноречивы в этом отношении документы следственных и судебных органов. Поразительная ситуация: возможности у садоводов с собственной техникой и без оной не то что не равны, но просто противоположны. Однако срок освоения для всех — два года. Удивительно ли, что иные председатели идут на «левые» подряды, на любые ухищрения, чтобы хоть что-то сделать.

Мне говорили не однажды: нет возможностей — нечего было землю брать. Но разве люди виноваты в том, что их организация не имеет необходимой техники?

А дальше события развивались так. Управление выделило нам мощные экскаватор и бульдозер. Они появились на болоте один за другим с интервалом в неделю. И застыли там, как овеществленные памятники нашего головотяпства.

Как отсыпать, если нет ни одного самосвала? Управление своих машин не имеет, от товарищества же ни одно автопредприятие заявок не принимает. Прораб, устроивший нам «красивую жизнь», подсказал: кооперируйтесь с теми, у кого есть машины, но нет экскаватора.

И закипела работа. Одна машина песка с илом — нам, две — хозяевам транспорта (таково условие). Но дорога-то продвигалась! Засыпали од-

ну старую торфяную выработку глубиной более двух метров, на очереди было еще две. Топь поглощала грунт с удивительной прожорливостью. Зато, когда образовалась какая-то твердь, ликованию нашему не было предела: вопреки всему строим!

Только длилось все это недолго — чужие самосвалы ушли: началась уборка. Снова застыли у нас мощные механизмы, которые где-то наверняка были очень нужны...

Еще до того, как стала председателем правления, почувствовала двойственность отношения окружающих к садово-огородному делу. На словах многие признают его полезность. На деле же и в глаза и за глаза садоводов величают «куркулями». Эстеты кривят в усмешке рот: заземляетесь, братцы, духовно обедняете себя и детей. Прагматики деловито интересуются, по каким ценам торгуем на рынке и вообще сколько «к рукам прилипло».

Ну, а председатель правления — фигура изначально подозрительная. Иначе, как махинатором и жуликом его и представить трудно (сужу по многочисленным комиссиям, которые у меня проверяли не раз одни и те же факты по одинаковым анонимкам).

Наверное, есть и жулики. Есть куркули, любители наживы, рвачи. Но зачем же огульно причислять к ним всех представителей необычайно трудолюбивого и бескорыстного племени садоводов?

Почему в последние годы горожанин так стремительно рванулся за город? Почему соглашается на неудобья, болота, выработанные карьеры, изнуряет себя тяжким в общем-то трудом, лишь бы зацепиться за землю?

Чем выше вздымаются железобетонные соты человеческого жилища, тем острее потребность ощутить ногой землю. И не просто ощутить — пообщаться с ней, посотрудничать, раскрыть ее живородную силу. Поднимаясь после работы на свой четырнадцатый этаж, почти физически чувствую иссушенность воздуха в квартире, ограниченность пространства, какую-то отсеченность от окружающего мира.

Полной грудью дышу теперь только на «болоте». Ничего не имею против аэробики и других модных увлечений урбанистов, но с гиподинамией предпочитаю бороться с помощью лопаты, грабель, тяпки, лейки. Радуюсь, видя такую же увлеченность вокруг.

Здоровый отдых, сопряженный с физическим трудом,— существенный, но еще не главный аргумент в пользу садоводства и огородничества. Может быть, намного важнее то, что на небольших клочках земли идет приобщение к труду городских детей. Здесь работают все от мала до велика — работают семьей. С огромным удовольствием наблюдаю, как озаряется лицо ребенка при виде зеленого ростка, проклюнувшегося на ухоженной им грядке. Уважение к труду, к земле, к семье, к природе здесь закладывается в подкорку, пронизывает все существо растущего человека. И остается с ним навсегда. Обогащает душу и разум, раскрывает многокрасочность жизни.

Садовый участок, как ни странно,— это еще и школа общения, и не только семейного. Не знаю, кто как, а я бы назвала коллективное садоводство экспериментом огромной социальной значимости, противостоящим процессу отчуждения, разобщения людей, изолированных друг от друга стенами отдельных квартир.

Но я опять отвлеклась от наших дел насущных. На совещаниях председателей в исполкоме райсовета нам не однажды перечисляли наши обязанности. Вплоть до того, сколько веников, то есть веточного корма, и сколько сена для района должны заготавливать товарищества. Но как только председатели задавали вопрос о дорогах, о песке и транспорте, разговор заходил в тупик. Ни один карьер в районе не отпускает песок садоводам. Не хватает на производственные нужды, так нам объяснили. Один из руководящих работников растолковал нам, что песок — это стратегическое сырье. Но вот это самое «стратегическое», к которому нам и подступать нельзя, «леваки» изо дня в день сотнями кубов гнали на садоводческие товарищества. И чем строже становился контроль на дорогах, тем изобретательнее действовали водители, тем выше поднималась цена машины песка.

С 1984 года свободно стали продаваться садовые домики. Это великое благо. И, кстати, конкретный пример, что рядовому садоводу нет надобности идти на какие-либо нарушения, если есть законные пути удовлетворения его потребностей.

Вполне естественно стремление владельца участка обустроить его с меньшими для себя затратами. Домик он может купить новенький, что называется, с иголочки, и за ценой не постоит. А вот хозблок многие стараются соорудить из подсобного материала, потому что не каждому по карману покупать тес по 90 рублей за кубометр. Тут годятся доски, балки, всякие стройдетали, бывшие в употреблении. Сносимые кварталы — любимое место поиска для сметливого дачника.

С группой наших садоводов три года назад побывали в разрушенных старых Мневниках. Сколько нужного для себя обнаружили там. Как взять? Обращались в райисполком, долго пытались выяснить процедуру покупки отходов. Наконец нас адресовали к прорабу того, не помню уж, СМУ или УМ, которое сносило старые кварталы.

Нашли наконец и его. «Платите и берите»,— невозмутимо произнес прораб. Легко сказать! То, что уже отобрано, никто для нас сохранять не будет. Пока закажешь машину, твои стройматериалы запросто растащат. «Леваки» предлагали перевезти, но за такую цену, что волосы дыбом встают,— новый тес дешевле встанет.

С таким же результатом побывали на многих площадках. Рискнули все же в одном дэзе выписать необходимое. Прошу я, скажем, восемь кубометров всякой разной древесины со слома. Главный инженер дэза предлагает: ну зачем так тратиться, выпишем четыре куба, а забирайте сколько хотите; надо быстрее площадку освобождать. Подивившись такой щедрости, отправляюсь по указанному адресу.

На месте все становится понятным. Не дэз диктует правила, а механизатор, ведущий разборку строений. Он соглашается отобрать нужное за сумму, в десять (!) раз превышающую ту, что указана в оплаченном счете. Это, конечно, мне не по карману. «Твои проблемы»,— бурчит «хозяин».

Хрясь! хрясь!— и вот уже восьмиметровая потолочная матица ковшом экскаватора разломана на куски и со всем остальным мусором погружена в самосвал, отправляющийся на свалку. А ведь при истинно хозяйском подходе она могла не один десяток лет послужить садоводу...

Объехали керамические заводы в округе. Радоваться бы надо, а мы огорчены: всюду безотходное производство. На зольных отвалах ГРЭС ковырялись: нельзя ли торфяные шлаки в дело пустить? На одном из заводов наткнулись на «золотую жилу»: отходы производства — бетонная крошка. Да ей же цены нет! А нам предлагают бесплатно, только вывозите, освободите от мусора.

Как я умоляла заведующую трансагентством в райцентре: ну хоть парочку машин, хоть на недельку! Но она лишь сочувственно улыбалась — у нее всего три самосвала, круглый год топливо населению возят.

В Мострансагентстве самосвалов нет, автопредприятия в районах от товариществ заявки не принимают. Вообще услугами местного трансагентства мало кому из нас удается воспользоваться и в личных целях. Пока доберешься на электричке до райцентра, весь транспорт спозаранку уже разобран местными жителями (всего-то три-четыре машины). Поэтому не рискуем, машину берем в Москве. Гоним ее порожняком километров за сто, на районный лесосклад. Оттуда километров восемь — десять с грузом — на участок.

Конечно, холостой пробег заказчик оплачивает, государство как будто не внакладе. А если по-хозяйски подсчитать? Сотни «пустых» километров — это тонны горючего, раньше времени изношенные машины. Если уж мерить государственными мерками, так куда разумнее добавить в местное трансагентство десяток машин для обслуживания садоводов.

Ведь наш район, например, перспективный для коллективного садоводства. Только за последние годы на его территории выделено для освоения около тысячи гектаров непригодных для сельского хозяйства земель. На одном из совещаний в исполкоме услышала, что уже 172 товарищества разместились на этих неудобьях. Население района увеличивается летом на 40—50 тысяч человек.

Смычка города с деревней обернулась, к сожалению, взаимной неприязнью. Местное население произносит слово «дачник» с тем же уничижительным оттенком, что столичный житель — иногда слово «мешочник» по адресу сельчан. А за что им нас любить? Автобусы переполнены, в магазинах мы удлиняем очереди, выбираем предназначенные вовсе не нам продукты (порой даже хлеб купить трудно).

Совсем недавно, к нашему счастью, прибавили дополнительные вагоны к электричкам — спасибо МПС. Это единственное изменение в нашу пользу за последние годы.

По дороге в Москву нередко устраиваем в электричке «летучие» совещания председателей. Два-три человека — вот уже и «кворум». Проблемы у всех одни, выведываем друг у друга, кто как с ними справляется.

В очередной раз предметом обсуждения стал новый Типовой устав садоводческого товарищества. Долго мы его ждали, связывали с его появлением немало надежд. И действительно, в первой части внесены существенные изменения и уточнения в порядок организации садоводческого товарищества. Внесены поправки, дополнения в главу о членстве, о правах и обязанностях владельцев участков.

Подчеркнуто в новом уставе, что членство в нем «не может использоваться в целях наживы и стяжательства, строительства особняков». И это понятно. На памяти у всех примеры злоупотреблений. Не с этой ли целью усовершенствован и пункт о застройке? Если раньше на хозяйственный блок отводилась площадь в 15 квадратных метров плюс три метра на душ и туалет, то теперь те же 15 квадратов, «включая душ и туалет». Вероятно, и в самом деле велика опасность сдать вышеперечисленные помещения внаем и крепко на этом поживиться.

Все это было бы только смешно, если бы далее не последовали разъяснения, которые вносят полную неясность. Строения, возведенные или начатые строительством до 1 января 1985 года (в том числе и упомянутые подсобные помещения), будут приниматься комиссиями по старым нормам, а все, что после,— по новым. И вот представьте, одни в нашем товариществе уже построились, другие — еще ногой не ступали (центр болота мелиорацией не тронут). То есть люди, которые и так-то ущемлены, будут снова урезаны в правах по сравнению с теми, кто получил участок посуше, обустроил его пораньше. И потом, как будет определять комиссия исполкома, в каком году вырос на участке тот или иной сарайчик?

Такой вот пустяк, а сколько вопросов вызывает. А сколько еще писем-жалоб вызовет. С нормами застройки усовершенствование идет больше по линии ужесточения. Такое создается впечатление, что на садоводов иначе как на стяжателей не смотрят даже люди, разрабатывающие уставные положения.

Отапливаемая площадь — 25 квадратов и точка. Вздумаешь утеплить террасу, попадешь в нарушители. Моей семье, положим, достаточно нормированных метров, террасу и мансарду отапливать не собираюсь. Но как разместится сосед, у которого семья (с детьми и внуками) состоит из семнадцати человек, ума не приложу. Ведь никому дела нет, что семьи у нас разные, а норма — на всех одна.

Знаю, что садовый участок предназначен прежде всего для выращивания овощей и фруктов, что максимум земли должен служить именно этой цели. Но в определенном минимуме пространства, отведенного для застройки, почему не позволить хозяину выбрать оптимальный вариант для своей семьи? Разве общество пострадает от того, что у моего многодетного соседа будут утепленными все 35 квадратных метров домика?

Ради чего так долго пересматривался устав, ради чего тщательно перефразировались старые положения (в редком пункте слова не поменяли местами), если все наши общие болевые точки так и не нашли в уставе не только разрешения, но даже освещения?

Откровенно говоря, не собиралась писать на эту тему. Не вела дневника, не копила материалов, документов. Выплеснула наболевшее, много раз обдуманное и обговоренное. Возможно, суждения мои спорны отчасти даже не верны. Заметки, действительно, субъективны и не претендуют на глубину анализа. В одном только не сомневаюсь: мою точку зрения разделят многие председатели правлений.

Меня могут упрекнуть: не время говорить о частностях, когда в процессе перестройки весь огромный народнохозяйственный механизм. Но, думается, перестройка, как и все наше социалистическое строительство, ведется во имя человека, в его интересах, а не ради самой перестройки. Чтобы мы могли и хотели не только лучше работать, но и лучше жить. С интересом, со вкусом, радоваться жизни во всех ее проявлениях.

Да и не такой уж это частный вопрос. Сейчас в нашей стране более 6,6 миллиона членов садоводческих товариществ. К 1990 году количество участков перевалит за 12 миллионов. Если взять среднюю семью из четырех человек (такие, как правило, составляют большинство в любом товариществе), то к концу двенадцатой пятилетки около 50 миллионов советских людей будут проводить свободное время на садово-огородном участке. А это ни много ни мало — шестая часть населения страны. Та самая часть, которая, не заглядывая в государственные закрома, будет самостоятельно обеспечивать себе (да и не только себе при отлаженной системе реализации излишков) овощной и фруктовый стол, а где-то и мясной, и медовый, поскольку кроликов, птицу и пчелиные ульи разрешается иметь на садовом участке.

Не спорю, немало делается сейчас для садоводов в государственном масштабе. Но бесспорно и то, что многие хорошие решения пока не работают. Базы нет для их осуществления. Поэтому выводы надо делать, исходя не из бумаг, а из практики.

Практика же такова: товарищество наше существует четвертый год, а дороги нет, мелиорация не закончена, об электросвете пока только мечтаем. О прочих приметах цивилизации, как то: телефон, магазин, газохранилище и т. п. — и мечтать не приходится. Владельцы срединных, самых заболоченных участков только-только начинают их осваивать. По уставу они давно уже должны быть исключены из садоводческого товарищества...

— СЕЙЧАС БУДЕТ
«ЦИРК НА КОЛЕСАХ»,—
СКАЗАЛ КТО-ТО
ИЗ СИДЯЩИХ НА ТРИБУНЕ,
КОГДА ОБЪЯВИЛИ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГРУППЫ «АВТОРОДЕО».
НО АВТОРОДЕО НЕ ТОЛЬКО
ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО,
ЭТО И СПОРТ,
И ВИРТУОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ.





АВТОРОДЕО

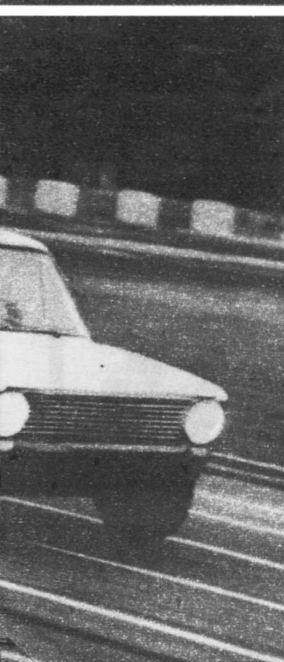
Фото Анатолия БОЧИНИНА













Их первое представление длилось всего двадцать минут. Но каких: автомобиль двигался на двух колесах, каскадеры снимали два других колеса, висевших в воздухе, и заменяли на новые.

«Двадцатиминутка» заложила принцип самого представления группы «Автородео — ВАЗ»: чтобы дух захватывало и чтобы демонстрировались возможности человека в обращении с техникой. Конечно, не забыли и интересы родных заводу «Жигулей» — машины должны вовсю показывать свои таланты.

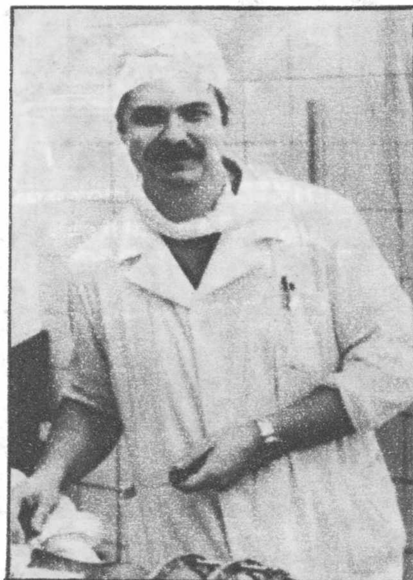
Все участники автородео — не профессиональные артисты. Они заводские водители; сначала их было семеро, теперь уже около двадцати, свой «автопарк», свои трюки.

...Прыгают, взлетают автомобили. Непостижимым образом вписываются в ревущий танец на колесах люди. Дым, огни, «арии» тормозов. Что это: риск ради осознания его пределов! Рискнем и мы быть уличенными в излишней оригинальности и скажем: это к тому же и своеобразный, наглядный курс безопасности автомобиля. Ведь на «арене» видишь, как четырехколесный друг ведет себя в экстремальных ситуациях. Как справляется с ним современный наездник — водитель.

И никак тут не уйти от ассоциации с укрощением диких лошадей, да и само название к этому подталкивает — автородео. Дерзость, мужество, ловкость. И дело. Вовсе не бесполезное для людей.



БЛИЗКАЯ БОЛЬ



Из аэропорта, по не проснувшимся еще московским улицам, летели машины с красными крестами. Одна из них везла девочку.

— Ну, не плачь, успокойся, маленькая, — по-английски приговаривал врач. Он видел много людской боли, от которой порой глаза выцветают. Но тут на него смотрел раненый ребенок...

Одна в незнакомом городе, за тысячи километров от дома, девочка держала перебитую руку, оберегая и как бы баюкая ее. Она прилетела рейсом Бейрут—Москва. Ее принял на лечение Советский Красный Крест, как принял сотни с начала израильской агрессии раненых из Ливана.

«Есть ли у тебя дома оружие?» — спросила я одного ливанского журналиста в бытность свою в Бейруте. «Нет,— ответил он.— Только пистолет и автомат». Он искренне считал их вещами обиходными, подразумевая под оружием минимум пулемет.

Перестрелки на улицах, артобстрелы — такова повседневная жизнь городов и деревень истерзанной страны. Страдает же от огня войны в первую голову гражданское население...

И наши врачи вот уже несколько лет делают все, чтобы вернуть здоровье раненым, поступившим на лечение в СССР. В тихом московском дворике мы разговариваем с хирургом-травматологом Владимиром Александровичем Хоменко. У него только что закончилась очередная сложная операция. Еще один искалеченный войной мирный житель возвращен к нормальной жизни. Рядом со скамейкой во дворике два деревца. Чья-то добрая рука связала ветви куском бинта, чтобы их не поломало ветром. Я смотрю на этот бинт и вижу другой двор, другую улицу. Два года назад, в Бейруте.

Было раннее утро. Гремели жалюзи железных штор, открывались лавки. Мой сосед в неизменной курточке из кожзаменителя с фирменной надписью «Хэппи мэн» («Счастливый человек») приветственно помахал мне в окно рукой.

Я махнула ему в ответ и побежала готовить завтрак. Выстрелы раздались, как всегда, неожиданно. Привыкнуть к ним невозможно, как невозможно привыкнуть к смерти. На этот раз столкновение произошло у поста Национально-патриотических сил Ливана, прямо возле дома. Потом я узнала, что из окна притормозившей машины вместо документов «предъявили» автоматные очереди...

Откуда-то примчалась машина «Скорой помощи», появились бинты. Я увидела, как санитары осторожно несут стонущего человека. И вот едва машина с красным крестом скрылась из глаз, молодая женщина вынесла ведро воды и деловито принялась смывать кровь с мостовой. Через пять минут возобновилось движение по улице, люди спешили на работу.

Об этой единичной трагедии не писали газеты. Их полос не хватило бы для подобных сообщений. Другое дело — взрыв школьного автобуса, развозившего ребят с занятий, о нем я прочла в тот же день...

Негромкий голос собеседника снова возвращает меня в московский дворик. «Мне не приходилось бывать в Ливане,— говорит Владимир Александрович,— но то, что там происходит, я чувствовал, зашивая одному парню рану на животе. Не могу забыть и Аль-Халями, которую средь бела дня в центре города ранило снарядным осколком. Она, еще не оправившись у нас после операции, все рвалась домой к своим шестерым детям... Или вот еще лежал у нас сильный, мужественный человек с юга Ливана. Мы долго бились, чтобы спасти ему руку. Он видел, понимал это. А тут вдруг говорит мне: «Доктор, может раз — и все?» И жест рубящий делает. «Скорее домой попаду. Я здесь будто на отдыхе, а должен быть там, вместе с товарищами по борьбе». Говорит, а у самого по щекам слезы текут. Письмо от родных получил — его дом взорвали.

Хоменко устало сдвигает со лба белую врачебную шапочку. «Удивительно это все-таки, когда твой лежачий больной наконец встает на ноги и делает первые самостоятельные шаги,— говорит Владимир Александрович.— Да еще вдруг оказывается выше тебя ростом...»

Я познакомилась с одним из его пациентов, который здесь уже во второй раз — долечивается. Абу Али живет недалеко от Сайды, был ранен в перестрелке с израильтянами.

— Когда я приехал к вам впервые,— говорит Абу Али,— меня считали безнадежным, я умирал. А уезжал отсюда на своих ногах! Наблюдавший меня в Ливане врач был поражен результатами. У вас очень хорошо лечат. Доктор Володя, другие,— добавляет он.

— Однажды,— рассказывает Владимир Александрович,— привезли четырехлетнего мальчика, который провел с матерью несколько месяцев в концлагере. Еле живой: ранение тяжелейшее, истощенный. Не подпускал к себе никого сначала, кричал, царапался — до сих пор не могу понять, что с ним там сделали, откуда такой страх перед врачами. А через несколько дней малыш уже обнимал меня за шею, когда я носил его на перевязку. Держу этого израненного человечка, а у меня самого сын такого же возраста...

Привязался мальчик и к нашим сестрам, как-то оттаял, повеселел, в безопасности себя почувствовал. И что еще меня поразило: жизнь ребенка на ниточке висит, а он вдруг достает игрушечный пистолетик, стреляет и при этом хохочет, заливается.

Сталкиваясь с подобными случаями, право, начинаешь лучше понимать, что же все-таки означает жизнь. И вот ставишь на ноги человека, он уезжает, а ты спустя некоторое время узнаешь, что его убили. Но тяжелее всего видеть раненых детей.

Дети очень быстро находят контакт. В них какое-то необъяснимое чувство родства, они и без языка прекрасно общаются, понимают друг друга. Очень похожи на них в этом отношении наши сестры. Так же быстро находят контакт с ранеными по выражению глаз, объясняются на пальцах, ободряют, ухаживают за ними, ну прямо как родные.

Я пошла к этим женщинам. Зинаида Ивановна Филимонова родом с Рязанщины. Война опалила и ее жизнь. И когда теперь раненые ливанцы зовут Зинаиду Ивановну «мамой», она словно переносится в далекие фронтовые годы.

Подошли ее подруги — Алла Васильевна Александрова, Галина Герасимовна Солянова. Искренне удивлялись.

— Чего о нас говорить. Делаем, что можем.

Здесь, в больнице, я узнала трогательную историю двух молодых, встретившихся после операции и полюбивших друг друга, услыхала об известном ливанском музыканте Аль-Данаф Нидале, который ежедневно часами разрабатывал руку, играя на гитаре с аппаратом Илизарова на поврежденной осколком руке, и вновь обрел былую виртуозность. До сих пор вспоминают тут его концерты. Неунывающий все же народ ливанцы!

* * *

Голубоглазая девочка уезжала домой. Врачи постарались сделать так, чтобы ранение как можно меньше напоминало о себе, когда девочка повзрослеет. Проводить ее пришла пожилая женщина. Они лежали в одной палате и очень привязались друг к другу. Женщина, как дочку, причесывала девочку, умывала, кормила, игрушки где-то доставала. Привезла ей в дорогу куриный суп. Вздыхала: «Дите ведь — одна в такую даль летит. Дай бог ей счастья!»

Татьяна ОКУЛОВА

КТО ПОМОЖЕТ ТАНЦУ?

В начале века на гастроли в Россию приехала Айседора Дункан. В Мариинском театре Петербурга среди зрителей оказалась и Стефанида Дмитриевна Руднева — студентка Бестужевских курсов. Сегодня сижу в ее маленькой комнатке и расспрашиваю о том концерте. Моему поколению, да и не только моему, трудно понять, что такое танец Айседоры. Единственное, что я знаю,— танцевала она босиком.

— Айседора не была красавицей,— рассказывает Стефанида Дмитриевна.— Но когда она танцевала — это было само совершенство. Ее поразительная музыкальная чуткость и способность переплавлять эмоции в движения были необычайными. Она показала, что тело дано человеку для того, чтобы что-то выражать...

Дункан перевернула жизнь Стефаниды Дмитриевны, и, как потом оказалось, не только ее: семь студенток Бестужевских курсов стали жить вместе и в свободное время учиться танцевать. Потом они создали государственную студию «Гентахор» в Ленинграде (1918—1934 гг.). В ней занимались взрослые и дети, они ездили с концертами — студия была самоокупаема.

В 1935 году Стефанида Дмитриевна со своей ученицей Эммой Михайловной Фиш приехала в Москву. Руднева занималась с детьми. Мальчики, которых она учила танцевать, ушли на войну и писали ей, что самые счастливые воспоминания из мирной жизни — это их участие в постановке «Снегурочки».

После войны Стефанида Дмитриевна работала в Доме народного творчества — готовила методистов. Эмма Михайловна занималась со взрослыми в Электростали и Столбовой, Чехове и Воскресенске... Несколько счастливых лет она руководила музыкальным движением во Дворце культуры «Правда». Были ученики, давали концерты.

В разных городах страны вот уже более 50 лет то гаснет, то возрождается музыкальное движение, которым руководят ученицы С. Рудневой и Э. Фиш. Одна из таких групп — на «благотворительном» положении при Институте имени Гнесиных. Ведет занятия Ольга Кондратьевна Попова, которая всю жизнь учила танцевать детей, а теперь — уговорили — учит взрослых.

...Иду в институт с опаской. Вдруг я, человек неподготовленный, не смогу понять, что такое музыкальное движение? По дороге разговорилась с учительницей музыки, которая учится здесь танцу.

— Вы понимаете,— объясняет она мне,— если вы пришли к нам показать, как хорошо танцуете, у вас ничего не получится. Это все не так просто.

Сажусь и смотрю. Что привело их сюда, молодых и пожилых, усталых и озабоченных после работы и домашних дел? Попробую объяснить себе и читателю.

Замечали ли вы, что, когда раздаются звуки, ну, например, известной всем «Цыганочки», очень трудно остаться неподвижным — мы начинаем подпевать, притопывать ногой, улыбаться. Этот наш подсознательный, непосредственный ответ на музыку и есть зачаточная форма музыкального движения.

Но по-настоящему непосредственными могут быть только дети. Только они могут так естественно переходить от плача к смеху, от горя к радости. Только дети готовы танцевать, едва заслышав первые звуки музыки. Взрослый человек скован — жизнь учит нас сдержанности. Но власть музыки так велика над нами, что заставляет улыбаться, плакать, двигаться.

Значит, дело нужное? Но у многих самодеятельных групп в столице нет помещения. И слышу голос Стефаниды Дмитриевны: «Гибнет дело... гибнет».

Не так давно участников музыкального движения пригласили выступить в городском Доме народного творчества. Но никого из работников дома в зале не оказалось, и, стало быть, помощи от них можно не ждать...

— Нельзя научиться слушать музыку по учебнику,— говорит Ольга Кондратьевна Попова.— Это должен делать педагог-методист. Такие есть в Москве. Чтобы их было больше, нужны ученики и постоянное место для занятий. Нужна студия, как это было когда-то у Стефаниды Дмитриевны и Эммы Михайловны.

А пока пробиваются люди к музыкальному движению поодиночке. И гибнет не только дело — мы теряем, на мой взгляд, одну из уникальных возможностей развития гармонической личности, в которой всегда была и будет необходимость, не правда ли?

Маргарита РЮРИКОВА



ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА ДАНИЛОВА

Обычно, не зная точного адреса, ему пишут просто: «Алма-Ата, Данилову А. С.» И не было еще случая, чтобы письмо не нашло адресата. Ему пишут рабочие и ученые, литературоведы, космонавты, академики и школьники. Каким-то образом о нем знают в Ленинграде и Владивостоке, Чите и Свердловске, Воркуте и Кушке... А действительно: кто он такой, этот Данилов А. С.! Герой, совершивший подвиг! Путешественник, проложивший маршрут в неведомых дебрях! Да, в известном смысле, это все о нем. А вообще-то Александр Сергеевич Данилов — пенсионер, но я не знаю другого человека, который бы и в молодые годы работал столь же много и продуктивно, как он...

Юрий ЛУШИН

Фото автора.

За последние три года он получил более одиннадцати тысяч писем и на семь тысяч ответил. Между прочим, это нелегко даже по причине весьма прозаической: ведь нужно было на собственную пенсию купить и отправить семь тысяч конвертов. Он купил и отправил. Просмотрим же с любезного согласия Александра Сергеевича и с его краткими комментариями лишь некоторые из них...

Вот письмо из Ленинграда от доктора искусствоведения О. В. Неверова, старшего научного сотрудника Эрмитажа. На нескольких страницах перечислены 48 малоизвестных русских художников, чьи картины находятся в известнейшем всему миру музее. Нет ли у Данилова более подробных сведений об этих художниках? — венчал это перечисление вопрос.

— Как нет? Есть, конечно,— ответил Данилов,— но, к сожалению, не о всех, а только о половине, хотя, возможно, и остальные отыщутся с течением времени...

Из Воронежа пишет В. К. Кравченко: «Помогите. Мне необходимо знать библиографические источники и биографию математика А. П. Киселева, автора учебников. Пишу о нем книгу...»

— Я сам учился по этому Киселеву, разумеется, знаю о нем давно, поэтому отправил в Воронеж двенадцать библиографических источников,— прокомментировал Александр Сергеевич.— Кстати, чтобы найти их, потребовалось ровно три минуты.

Из Джамбула спрашивает Булат Козбаков: «Я преподаватель технологического института, занимаюсь историей науки и техники, в том числе историей кузнечно-прессовых машин. Хотелось бы получить от вас сведения о жизни и деятельности английского инженера и промышленника Джеймса Несмита, изобретателя парового молота».

— Вот с ним я знаком лично. Что? Нет, с Булатом Козбаковичем, разумеется. Он в гостях у меня был, потом я у него в Джамбуле. Какими судьбами? Лекции меня пригласило читать общество «Знание». Да, а Козбакову я восемнадцать книг по Несмиту подсказал. Зато и он меня выручил, связал с музеем паровых молотов в Подмосковье, откуда я получил такие редкие сведения, которые не знаю, где бы еще нашел. Великое дело — взаимовыручка.

Еще письмо: «Обращаются к вам ученики 9-го «Б» класса средней школы № 7 г. Павлограда Днепропетровской области. Мы пишем историю своего родного города, ему уже исполнилось 200 лет, знакомимся с биографиями знаменитых людей, которые в нем родились, жили и работали. Так мы узнали, что в Павлограде родился и вырос выдающийся советский конструктор танков Котин Жозэф Яковлевич. Но нам мало сведений из энциклопедии. Александр Сергеевич, может быть, вы еще что-то про Котина подскажете и про других знаменитых людей нашего города?»

— Школьникам всегда отвечаю. Ведь замечательное дело ребятишки делают. Сообщил им коечто и о Котине, и еще о четверых павлоградцах... Надо знать свою историю, надо помнить...

Пишет из Харькова Л. Г. Фридман, литературовед: «Не поделитесь ли вы со мной сведениями о поэте Ардове?»

— Вопросец, скажу я вам. Во-первых, Ардов — это псевдоним (настоящая фамилия Тардов Владимир Геннадиевич). Во-вторых, он издал единственный в жизни сборник «Вечерний свет» в 1907 году. Тем не менее два источника о нем у меня нашлись.

Письмо из Абакана Хакасской автономной области от Б. Хавратовича, кандидата исторических наук: «...Вновь обращаюсь к вам с просьбой. Есть ли у вас что-нибудь из биографических данных на Александра Васильевича Игумнова?»

— Есть, конечно. Это деятель просвещения восемнадцатого века в Бурятии, похоронен в Чите, в которой существует прекрасный архив! Я удивился: ведь Чита гораздо ближе к Абакану, чем Алма-Ата. Почему он туда не обратился? Оказывается, обращался дважды, но ответа не получил...

Из города Раменское Московской области от А. Ф. Егорова: «Я журналист, участник Великой Отечественной войны. Немолод, мне уже 65 лет. По заданию Политиздата принимаю участие в подготовке к печати сборника «Комиссары на линии огня» (1918—1922 гг.). В мою задачу входит написать очерк о комиссаре Керкиже Куприяне Осиповиче. Надеюсь на вашу помощь в поисках материалов о нем...»

— Между прочим, этого Керкиже нет ни в БСЭ, ни в Военной энциклопедии. А я через три минуты выписываю на отдельный листок: Керкиже К. О. Родился 29 сентября 1886 года в деревне Большие Смоленцы Витебской губернии, погиб в автокатастрофе 24 мая 1932 года в Москве. И еще сообщаю пять источников, из которых многое можно узнать о комиссаре. Пять!

Снова письмо из Ленинграда (кстати, оттуда писем больше всего) от профессора-литературоведа М. А. Любавина: «Нет ли у вас сведений о подполковнике Суздальского пехотного полка, 1764 год, Якове Ивановиче Трусове?»

— Чем же заинтересовал профессора этот Трусов? Он, оказывается, всего-навсего первым перевел на русский «Робинзона Крузо» еще 220 лет тому назад. И два века никому не был нужен. Профессор наткнулся на его фамилию в какой-то старой газете, потом копал архивы еще шесть или семь лет и нашел еще одну публикацию в журнале. Мало. Хотелось больше... В тот же день я послал ему ответ и шесть библиографических источников о Трусове. Теперь Любавин пишет о нем книгу...

* * *

— Подобных писем у меня вон сколько,— сказал Данилов,— до утра можно читать. Но в принципе, надеюсь, вам и так все ясно...

— Ясно? — удивился я.— Как раз наоборот. Вам задают невероятные вопросы о людях разных эпох, и у вас находятся на них ответы (каких часто не получить ни в библиотеках, ни в архивах) да еще за три минуты. Просто мистика.

— Нет никакой мистики, просто труд...

* * *

— Позвольте теперь мне задать вам один вопрос? — сказал Данилов.— Сколько книг, по-вашему, может прочесть человек за свою жизнь? Или за какой-то большой период времени, допустим, за сорок лет (извините, люблю круглые цифры)?

— Не знаю, не задумывался.

— И никто не знает. Нам даже неизвестно, сколько книг прочитал Ленин, хотя одно несомненно — очень много.

...Это важно! По-моему, очень! Я знаю только одного человека, которому известно, сколько книг он прочитал за свою жизнь. И назову вам точную цифру, только немного позже.

* * *

Смотрю на его руки, с глубоко въевшимися в кожу угольными точками, руки шахтера. Им знакомо еще и ремесло бурильщика, взрывника, бетонщика, плотника, кочегара, золотоискателя и... дипломированного фельдшера. Однажды с ним такой случай произошел. Жил тогда Данилов с женой в Магаданской области, в крохотном поселочке Рыбный (дети — две дочери и сын — к тому времени повзрослели, обзавелись собственными семьями). Из его окна виднелся путевой столб с двумя стрелками, на одной из которых значилось: «Магадан — 499 км», а на другой: «Якутск — 566 км». По здешним меркам неподалеку (и сотни километров не наберется) строилась на реке Колыме электростанция, чуть дальше лежал полюс холода — Оймякон, а уже далеко за ним (даже по здешним меркам) — самый натуральный Северный полюс. С остальным миром, с Большой землей, как здесь говорили, его связывали книги, которые он еженедельно ездил обменивать в библиотеку райцентра Ягодное на рейсовом автобусе. Набивал книгами рюкзак и внушительных габаритов чемодан и ехал, приводя в легкую панику библиотекаршу. (Та все никак не могла поверить, что можно такую уйму книг прочитать за неделю. Она не предполагала, что Данилов успевал не только прочитать их, но и сделать нужные ему выписки...) Та суббота начиналась обыденно. Привычно жарил колымский мороз за сорок, привычно запаздывал рейсовый автобус. Но когда он наконец подкатил, Данилову повезло: отыскалось в хвосте теплое местечко... Автобус мягко покачивало, сквозь тройные, насквозь проморошенные стекла пробивался матовый полусвет, и оттого мнилось, что они не едут, а словно бы плывут. Он задремал, и почти сразу же, так ему показалось, разбудил его женский вскрик.

— Что это? — спросил он и, взглянув на часы, понял, что проехал по крайней мере половину пути. Автобус почему-то стоял.— Что это?

Данилов уже протискивался к середине салона, где сгрудились женщины.

— Туда нельзя,— преградили они ему путь.

— Мне можно, я фельдшер. Лучше поищите нитки и одеколон.

Сбросив полушубок и пиджак, он остался в свитере, рукава которого закатал по локоть. Женщина снова закричала, и он, чувствуя, что надо поторопиться, попросил приготовить теплые вещи, чтобы принять в них ребенка. Потом, раскрыв перочинный нож, облил его лезвие и руки французскими духами (одеколона не нашлось) и попросил всех отойти подальше. Нитки, разумеется, были не стерильными, самыми обычными, и он с расчетом обрезал пуповину чуть выше положенного. «В больнице эту несложную операцию повторят и сделают как надо»,— подумал он...

Через час автобус катил дальше, и теперь в нем было на одного человека больше.

— Порядок?— почему-то шепотом спросил попутчик.

— Мальчишка родился, килограмма на четыре.

* * *

Однажды он получил письмо из Рязанской области от старушки-пенсионерки. Та писала, что в последнее время очень болеет, врач советовал лечиться облепиховым маслом, но его в рязанских краях не достать. Тогда он пошел на Алма-Атинский рынок, купил масло и отослал старушке. В ответ получил прекрасное письмо, через месяц второе: «Александр Сергеевич, а я ведь поправилась».

* * *

На прииске ему дали прозвище Философ.

— По какой причине? — спросил я.

— Из-за книг...

Когда кончался рабочий день (а там он длился от восхода до заката, поскольку работа на промывке золота сезонная, нужно спешить) и здоровенные мужики, как подрубленные, валились спать, Данилов доставал пачку книг, намазывался антикомарином и при свете керосиновой лампы читал до двух ночи, что-то выписывая время от времени на карточки. Звенели комары, лишь подчеркивая первобытную тишину ночи, в которой происходили у него удивительные встречи с героями и злодеями, известными всему миру гениями и забытыми изобретателями, художниками, писателями, в общем, с людьми, оставившими какой-то след в истории. С удивлением он узнавал, что композитор Бородин, автор оперы «Князь Игорь», на самом деле был талантливым химиком, а музыка была лишь его увлечением. Или вдруг открывал, что легендарный герой гражданской войны маршал Михаил Тухачевский еще и книги писал, и превосходные скрипки делал (четыре сохранившиеся сейчас ценятся очень дорого)... И он выписывал известные и забытые имена на карточки, располагая их в алфавитном порядке, и даты рождения и смерти (даже ее причину, если она известна), и библиографические источники (книги, журналы, газеты с полными выходными данными), в которых они хоть как-то упоминались.

— Слышь, Философ, зачем тебе все это? — спрашивали его, кто с недоумением, кто с явным состраданием. Он понимал, что выглядит в их глазах чудаком (называли меня и похлестче, как-то сознался он), но звание это не тяготило его, он им даже гордился, помня слова Горького о том, что чудаки украшают мир...

* * *

Читать его научили родители в четыре года. «На свою же голову,— шутил он впоследствии,— поскольку стал я несносным почемучкой, измучил своими «почему» сначала их, потом учителей и библиотекарей...» Жили они тогда во Владивостоке, в квартире с большой библиотекой, в которой книги по почвоведению и ботанике (родители были учеными, специалистами в этой области) соседствовали с популярной, биографической и художественной литературой. Ему разрешалось брать любую из них. Еще важнее было другое: тогда же у него стала составляться собственная библиотека. Сохранились четыре старые школьные тетради, на обложках которых я прочитал: «Каталог книг ученика 6-го класса Саши Данилова». Таким образом, точно известно, что в личной библиотеке шестиклассника находилось 787 книг, все читанные, а иные и неоднократно. Полистав каталог, я подивился обилию научно-популярной литературы (безусловно, заслуга родителей). В нем значилось шесть томов «Жизни животных» Брэма, «Занимательная минералогия» Ферсмана, «Занимательная астрономия» Фламмариона, «История локомотива», «Занимательная физика» Перельмана и многое другое. Разумеется, тут же и Пушкин, Гоголь, Некрасов, Лермонтов, Герцен, Толстой... Причем каталог составлен был по всем правилам библиографии. Однако больше всего меня поразило то, что школьник записал в отдельную тетрадь краткое содержание всех прочитанных книг, всех без исключения.

— Тут дело вот в чем,— пояснил Александр Сергеевич,— читал я всегда много, но вот на каком-то этапе вдруг понял: чем больше читаю, тем больше забывается, хотя на память свою не жалуюсь и сейчас. Это неприятное открытие как-то больно задело меня, даже обидело. Я стал искать выход и нашел его...

Составив каталог собственных книг, Данилов вдруг понял, что совершает ошибку. Ведь читал он не только свои, а еще и библиотечные книги (был записан в трех библиотеках Владивостока). И тогда — день тот он на всю жизнь запомнил — 20 октября 1942 года четырнадцатилетний подросток торжественно поклялся перед своими товарищами, что отныне он будет любую прочитанную им книгу заносить в свой каталог.

— Прошло сорок пять лет, детская клятва нерушима до сих пор, и сейчас я назову точную цифру прочитанных за это время книг — двадцать три тысячи восемьсот пять, но завтра она, естественно, увеличится...

— Почему возникла необходимость в клятве? — спросил я.

— «Ребячья вера во все чудесное», как писал Герцен, наверное, она,— ответил Александр Сергеевич.— Как раз перед этим я прочитал «Былое и думы», многое меня поразило в этой книге, и, конечно, клятва Герцена и Огарева на Воробьевых горах...

Давая свою клятву, Данилов не предполагал, во что выльется его увлечение, начинавшееся почти как игра.

* * *

— Есть ли у вас жизненный девиз? — как-то спросил я его.

— Ни дня без книги,— ответил Данилов.— У меня даже плакат такой висел многие годы, самодельный, потом надобность в нем отпала.

* * *

Читал он всегда очень много, но не это главное. Важнее то, как он читал. Ему нравилась художественная литература, но, может быть, еще больше его увлекали не придуманные писателями герои, а судьбы самих писателей и разных других реально существовавших исторических личностей. Так, школьник Данилов собрал к 1942 году толстенную папку материалов о Спартаке, а позже рядом легла пока совсем тоненькая об Александре Матросове. И его современник, своей грудью закрывший пулемет, чтобы он, Данилов, и тысячи его сверстников могли спокойно читать книги, интересовал его не меньше, чем знаменитый древнеримский гладиатор.

Образы столь непохожих друг на друга героев так увлекли его, что он решил писать их биографии. И если бы только эти две... К тому времени в свою картотеку замечательных личностей он занес около тысячи фамилий разных людей, о которых он также хотел знать как можно больше. Все свободное время он проводил в библиотеках, раскапывая в книгах сведения о Рамзесе Втором и Миклухо-Маклае, Чаадаеве и Эйнштейне, о няне Пушкина и, конечно, о нем самом, о Пржевальском, Жюле Верне, Андрее Рублеве и о... тысяче других. «Боже мой, как же много хороших, талантливых людей жило и живет на нашей планете,— с восторгом думал он,— но как все-таки мало и далеко не обо всех знаем...» И не мог побороть искушения и не пополнить свою картотеку каким-то новым именем, встреченным при поиске тех, кто был уже как-то известен ему. Не успел он оглянуться, как его тысяча удвоилась, потом утроилась... Это было как наваждение. И понял Саша Данилов, что если возьмется писать обо всех биографии, то жизни его на это не хватит. Однако остановиться в своем поиске он уже не мог и знал, что никогда не остановится.

* * *

— Вы, конечно, знаете, как звали няню Пушкина? — спросил меня Данилов.— Вы правы, это любому школьнику известно — Арина Родионовна. А ее фамилию? А из какого она роду-племени? Где родилась? Где похоронена и в каком возрасте? Еще школьником задавал я эти вопросы учителям, в библиотеках интересовался. Никто не мог ответить. Тогда я взял чистый лист ватмана, расчертил на квадраты, в каждом из которых поставил интересовавший меня вопрос о няне Пушкина. Лист повесил на стену, сказав себе: «Не сниму его до тех пор, пока не найду все ответы...» Так вот последний квадрат я заполнил спустя... двадцать два года. Выяснилось, что фамилия няни Яковлева, но это по мужу, а в девичестве была она Матвеевой... Разумеется, эти данные были известны и раньше, но скрывались под Гималаями книг, журналов, газет. И поиск-то велся вслепую, как ведут его наугад и поныне десятки тысяч людей, приходящих каждое утро в библиотечные залы. Представляете, сколько времени теряется! Ведь можно месяцами, даже годами искать какую-то фамилию, если она не значится в энциклопедиях, если об этом человеке не написана монография. И вот когда я понял, что с составлением биографий мне не справиться, решил собрать в единый каталог библиографические сведения о всех живущих или живших на земле людях, о всех без исключения, если оставили какой-то след. Пусть это будет писатель, написавший в жизни лишь единственную книгу, даже давно забытую. Пусть это будет изобретатель, изобретение которого было актуально лет сто или двести тому назад, а потом потеряло всякий смысл. Пусть это будет художник, картины которого когда-то волновали сердца масс, а ныне интересны только искусствоведам. Ну и что? Пусть и эти имена с кратчайшими сведениями об их жизни войдут в каталог, но пусть там же будет указано, что дополнительные сведения о них можно найти, допустим, еще в трех таких-то книгах, пяти журналах и десятке газет...

Поняв, какую пользу может принести осуществление его идеи, он дал зимой 1943 года новую клятву: до конца жизни не прекращать работу и над этим каталогом, который впоследствии получил название — Биобиблиографический словарь «Люди голубой планеты».

* * *

На пенсию Данилов вышел в 50 лет, заслужив на это право многолетним трудом в шахтах Кузбасса и на золотых приисках Колымы. Впрочем, трудовую свою деятельность он начал в качестве фельдшера, диплом которого получил после окончания с отличием медицинского училища в Благовещенске (где жил в общежитии совершенно самостоятельно, поскольку родители отправились в длительную научную экспедицию и с собой взять сына не могли). Училище он выбрал сам по причине, которая могла показаться кому-то даже несерьезной. Просто незадолго до этого он прочел книгу Сеченова «Рефлексы головного мозга». Прочел, ничего не понял и дал себе слово, что станет медиком, чтобы понять Сеченова. Именно в Благовещенске он начал составление своего словаря, но, кстати, только после того, как убедился, что такового в природе не существует. (Долгое время он думал, что рядовые библиотекари просто, как говорится, не в курсе, и записался поэтому на прием и к директору областной библиотеки, накинув к своему юному возрасту пару лет для солидности. Однако был разочарован, услышав, что подобного словаря нет ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в Париже, ни в Лондоне.) Примерно через год у него уже скопилось десять тысяч карточек с фамилиями людей разных эпох, стран и профессий. От коробок с ними деваться было некуда, и Данилов понял, что, если и дальше так дело пойдет, ему потребуется многоэтажный особняк для хранения карточек. Выход обнаружился сам собой, простой и эффективный. Друзья подарили ему в день рождения сто общих тетрадей (подарок для тех военных лет, между прочим, королевский). Он сшил их по десять штук, разлиновал на графы, и все десять тысяч карточек уместились в эти тетради. Переписка заняла порядочное время, но поиск новых интересных личностей при этом не прекращался, шел параллельно. И когда он заполнял последнюю графу в последней тетради, его ждали уже 12 тысяч новых фамилий, занесенных на новые карточки. Находился он тогда уже далеко от Благовещенска, под Новосибирском, где работал фельдшером в деревеньке Гусиный Брод (теперь это огромный жилой массив Новосибирска). Ничего не оставалось делать, как, объединив оба списка, переписать все заново — на сей раз в толстые амбарные книги (если не перепишешь, то в поисках запутаешься). Впрочем, история повторилась. Только теперь после новой переписки его ждали уже тридцать тысяч фамилий, а в очередной раз все семьдесят тысяч... Но ничто не могло помешать рождению словаря: ни рождение детей, ни переезды то в глухой поселок дальнего Сузунского района, то в Кузбасс, то в Магаданскую область...

Приезжая в новый город, он немедленно записывался в две-три библиотеки и знакомился с местными книголюбами. И всегда как-то везло ему на встречи с умными, талантливыми, неординарными людьми, словно исходило от него к ним некое волшебное поле тяготения.

— Особенно повезло мне в Новосибирске,— рассказывал Александр Сергеевич.— Работал главным библиографом в тамошней областной библиотеке в те послевоенные годы Лев Еруфимович Левинсон, замечательный человек, вечная ему память. Он как-то с полуслова меня понял, одобрил и всячески мне помогал. От него я впервые услышал, что в Пушкинском Доме в Ленинграде хранятся архивы известных ученых, профессоров Венгерова и Модзалевского, которые составляли картотеки биографий различных деятелей России вплоть до 1916 года. С тех пор я заболел мечтой: как бы взглянуть на их архивы... Но пока надо было думать о другом. Уезжал я с женой в самый глухой район области, где не было в то время ни электричества, ни библиотеки, и потому работа над словарем оказалась под угрозой. При прощании рассказал об этом Левинсону и не мог удержать слез.

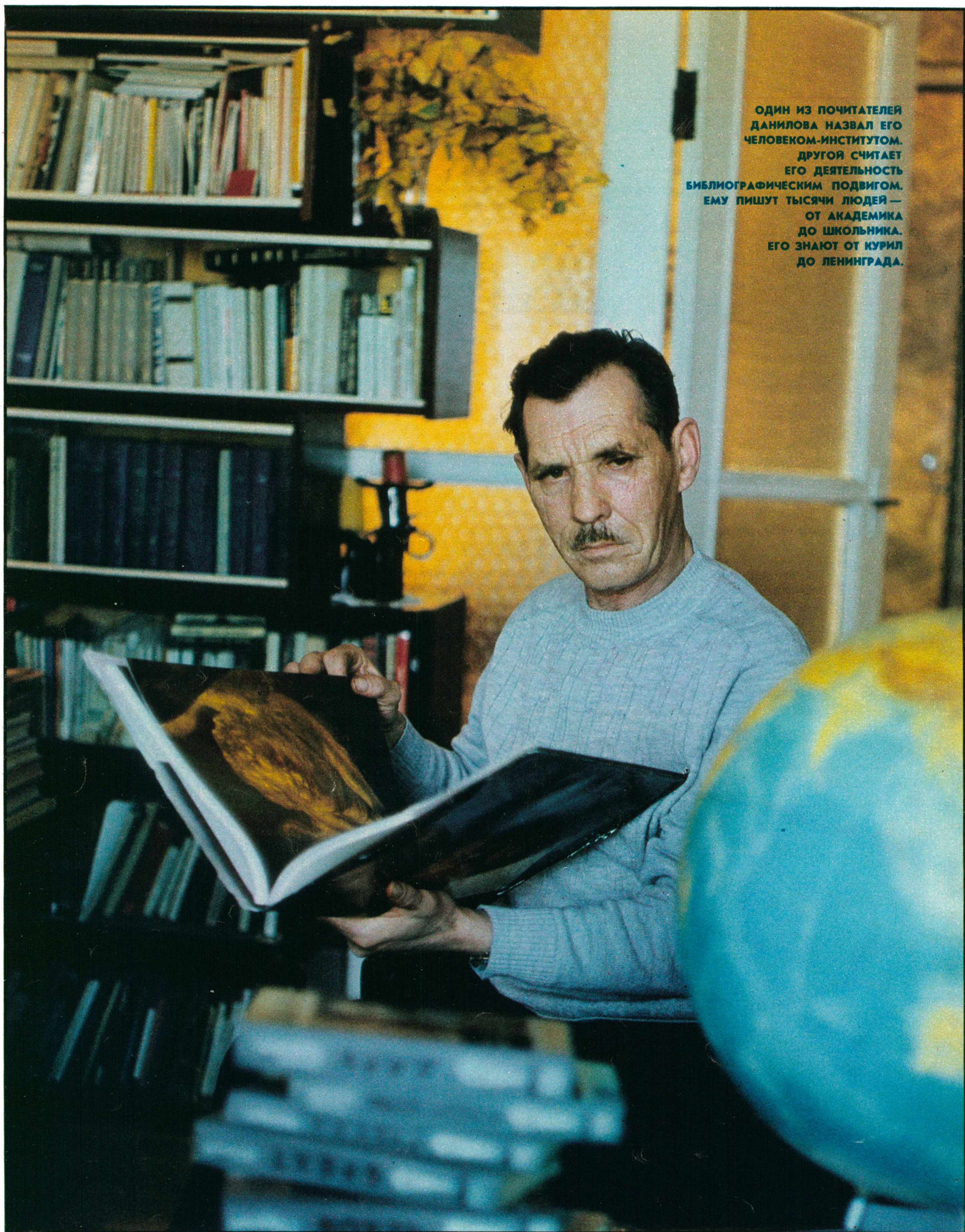
— Нечего нюни распускать, держись мужчиной,— сказал он,— откроем для тебя межбиблиотечный абонемент. Будешь высылать заявки, а мы — книги, которые ты по прочтении возвращать в целости и сохранности...

Так все и было вплоть до переезда в Алма-Ату. Ежемесячно он получал полтора-два десятка посылок с книгами. Левинсона давно в живых не было, а книги находили Данилова, куда бы он ни уезжал.

— Когда же вы читали? — спросил я.

— Сутки растягивал,— пошутил Данилов, потом признался: — Ежедневно с восьми вечера до двух

Окончание см. на стр. 25.



ОДИН ИЗ ПОЧИТАТЕЛЕЙ ДАНИЛОВА НАЗВАЛ ЕГО ЧЕЛОВЕКОМ-ИНСТИТУТОМ. ДРУГОЙ СЧИТАЕТ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ПОДВИГОМ. ЕМУ ПИШУТ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ — ОТ АКАДЕМИКА ДО ШКОЛЬНИКА. ЕГО ЗНАЮТ ОТ КУРИЛ ДО ЛЕНИНГРАДА.

«АЗ К МИРУ И К В

Известны замечательные собрания царя Алексея Михайловича, Никиты Романова, Голицыных... Но для Петра это было не просто увлечением, потому что «первым из мирских дел» считал он военное дело.

Старший научный сотрудник, хранитель коллекции оружия Государственных музеев Кремля Елена Владимировна Тихомирова рассказала мне, что впервые Петр мог познакомиться с работой русских и иностранных мастеров в Оружейной палате, где, помимо парадного охотничьего, хранилось огромное количество военного огневого оружия. Так были вооружены и потешные полки. В 1697 году в Кенигсберге Петр изучал оружие под руководством главного инженера прусских крепостей подполковника Штейтнера фон Штернфельда и получил аттестат «искусного огнестрельного художника».

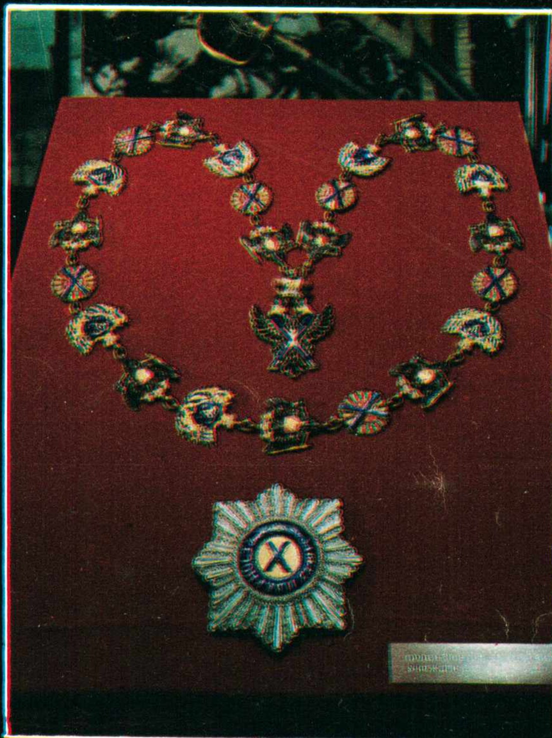
В коллекции Петра представлены все типы и виды вооружения того времени — всего пятьсот двадцать шесть образцов. Большую часть собрания составляет огнестрельное оружие с различными механизмами воспламенения заряда: фитильные, колесцовые и кремневые ружья и пистолеты. Создавали их лучшие оружейники Турции, Средней Азии, Австрии, Саксонии, Богемии, Баварии, Швеции, Франции, Англии... Передовым считалось оружие с кремневым замком, поэтому Петр уделял ему особое внимание. Первоклассным было кремневое оружие у Швеции — основного противника России в Северной войне. И поэтому Петр тщательно изучал шведские гладкоствольные ружья и винтовки. Но не копировал. Вместе с оружейниками Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Олонца Петр создавал оригинальное русское оружие.

Вот фузея. Удобный приклад. Круглый ствол в казенной части украшен орнаментом, в центре — сложный вензель Петра I под императорской короной. Пуля для стрельбы из фузеи весила 8 золотников, то есть 34 грамма. Дальность стрельбы — больше трехсот шагов, скорострельность — до одного выстрела в минуту.

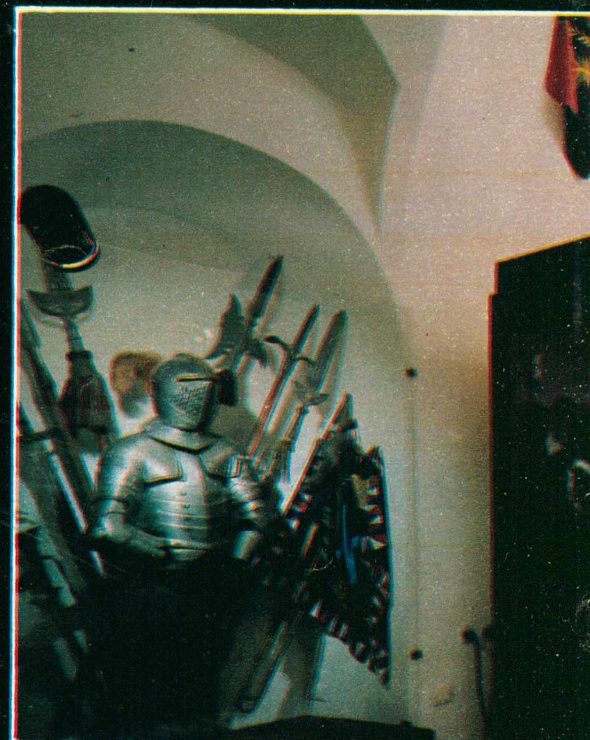
Петр сам был великолепным фехтовальщиком и немалую роль в бою отводил холодному оружию — шпагам, кортикам, палашам. На клинке палаша, выполненного в Олонце в 1710 году, гравировано аллегорическое изображение двух протянутых в рукопожатии рук на фоне облаков и надпись: «Верь и сумневайся». С другой стороны клинка — рука с мечом, перевитым лавровой ветвью с надписью: «Аз к миру и к войне».

Выставка помогает лучше понять личность Петра, а вместе с тем и историю России.

Сергей МАРКОВ



АРКЕБУЗЫ, ПАЛАШИ, КОРТИКИ, ПИЩАЛИ, МУШКЕТЫ, ФУЗЕИ, МОРТИРКИ... ОРУЖИЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ПЕТРА I МОЖНО УВИДЕТЬ НЫНЕ НА ВЫСТАВКЕ В КРЕМЛЕ.



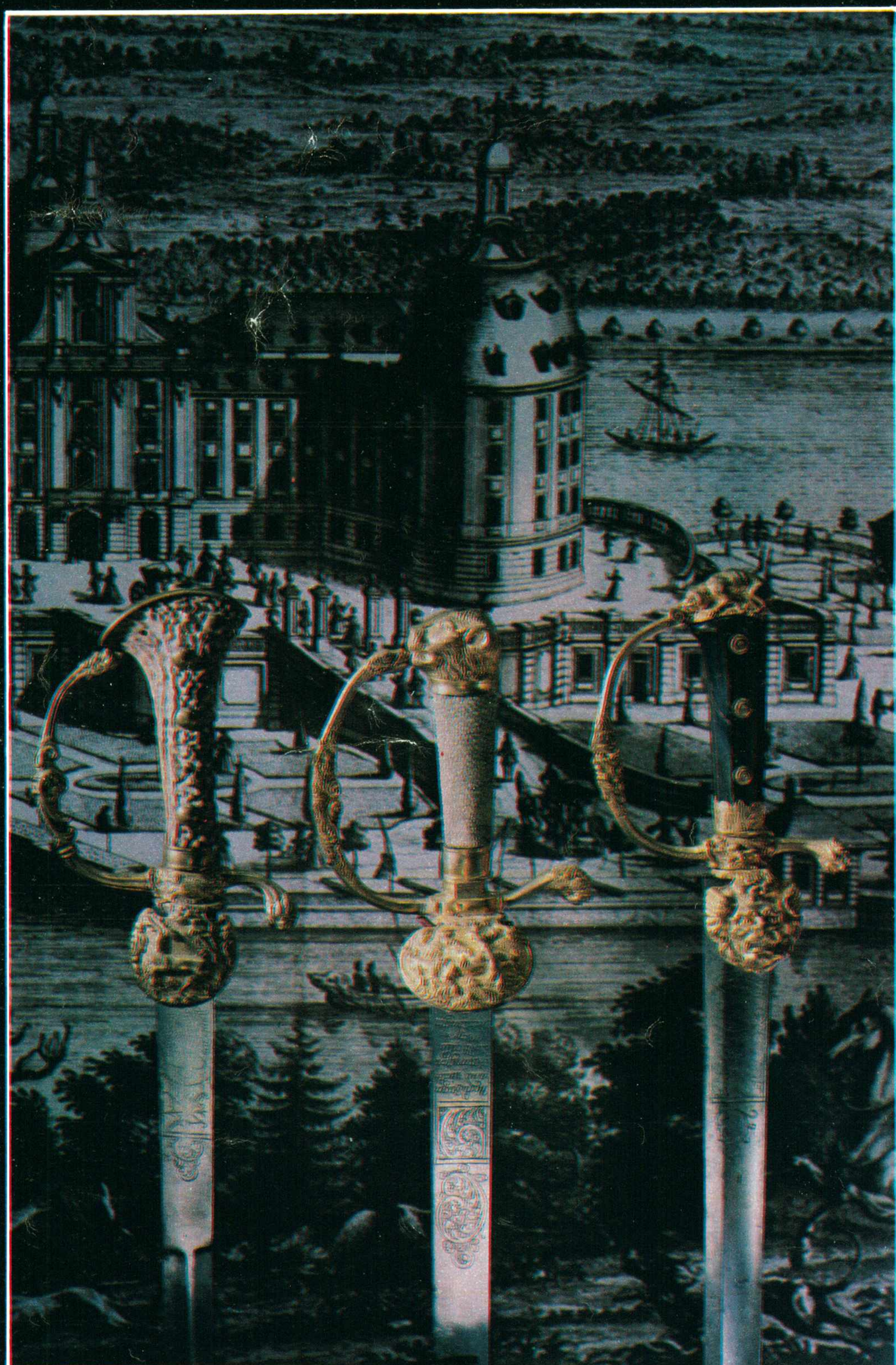
ОЙНЕ»







Фото Николая РАХМАНОВА





15 ИЮНЯ 1985 ГОДА
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК
НАНЕС «ДАНАЕ»
ДВА НОЖЕВЫХ РАНЕНИЯ,
ОБЛИЛ ЕЕ КИСЛОТОЙ.
ИМЕННО ТОГДА ПОПОЛЗЛИ СЛУХИ
ОДИН СТРАШНЕЕ ДРУГОГО.
ОНИ РАЗНИЛИСЬ В ДЕТАЛЯХ,
НО СХОДИЛИСЬ В ГЛАВНОМ —
ОТ КАРТИНЫ КАК ТАКОВОЙ
НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ,
ВОССТАНОВИТЬ ЕЕ
В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ НЕВОЗМОЖНО.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА
ЭРМИТАЖА Б. ПИОТРОВСКОГО
В ОДНОЙ ИЗ ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ
УСПОКОИЛО ЛЕНИНГРАДЦЕВ,
ВСЕЛИЛО НАДЕЖДЫ,
НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ
ИСКАЖЕННЫЕ ВЕРСИИ СЛУЧИВШЕГОСЯ
ПРОДОЛЖАЛИ ГУЛЯТЬ
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ.
В СВЯЗИ С ЭТИМ РЕДАКЦИЯ
ПОЛУЧАЛА МНОГО ПИСЕМ
С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ
О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ КАРТИНЫ.

«ДАНАЯ» БУДЕТ ЖИТЬ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Олег ПЕТРИЧЕНКО,
соб. корр. «Огонька»

Даже представить не мог, что когда-либо прикоснусь к рембрандтовской «Данае»! Сколько ни встречались, всегда между нами была дистанция, которая, согласно строгим музейным правилам, и должна отделять простого смертного от прекрасной аргосской царевны.

Пронизанная лучезарным сиянием, величественная и такая земная в своей любви к царю и отцу богов и людей — Зевсу, она и рождена земной любовью художника к своей жене Саскии. И радость этого чувства вот уже три с половиной столетия согревала всех, кому посчастливилось увидеть картину, ставшую одним из шедевров мировой живописи.

В Эрмитаж она поступила в 1772 году и с тех пор лишь однажды покидала его, совершив в 1978 году триумфальное путешествие в Японию. Были предприняты чрезвычайные меры по обеспечению безопасности, сохранности бесценного полотна, и кто бы мог подумать, что беда приключится с ним в родных стенах...

Справедливости ради замечу, что для пессимизма, даже среди тех, кто располагал достоверной информацией, в общем, были основания: кислота есть кислота — для красок, холста, наверное, нет врага страшнее, это как пожар для сухого леса. И все-таки недаром утверждают: лучше один раз увидеть... У Б. Пиотровского, его заместителя В. Суслова, реставраторов Е. Герасимова, А. Рахмана, А. Брянцева, Н. Хольновой и многих других специалистов, в первые минуты пришедших на помощь «Данае», сомнений не возникало — картина будет спасена.

Скажу честно: лично я к числу оптимистов не принадлежал. Хотелось, конечно, верить в лучшее, и все-таки невосполнимой казалась утрата, быть может, основного — колдовского, таинственного сияния, окутывавшего полотно, размышляя о природе которого в творениях Рембрандта, Э. Верхарн писал: «Ни линия, ни краски не управляют его композицией: она подчинена одному — свету... То не был естественный свет, омывающий предметы или преломляющийся в них и оживляющий их своими контрастами. Совсем напротив: то был некий идеальный свет, только мыслимый и воображаемый... Все существующее от него приобретает свою окраску и видоизменяется в подчинении ему».

Думалось: восстановить, наверное, можно все, но как можно восстановить почти неуловимое, доступное лишь воображению, кисти гения?

С такими мыслями, с такой, если хотите, мерой придирчивости вступил я под своды бывшей Малой церкви, помещение которой отдано реставраторам.

Столетия сошлись передо мной. И это не просто метафора: с понятным волнением смотрел я на холст, которому три с половиной века, с некоторым удивлением — на сложную, неизвестного назначения технику, окружавшую его.

Но, прежде чем задал первый вопрос руководителю группы реставраторов Е. Герасимову, в воображении, словно кадры из киноленты, пронеслись мгновения, круто изменившие судьбу картины: отчаянный женский крик в тишине многолюдного, вдруг замершего зала, стремительный, запоздалый бросок милиционера, отсутствующий, ничего не выражающий взгляд маленького, словно чем-то пришибленного, человечка, сжимавшего нож...

— Когда позвонили с работы, жена подошла к телефону,— вспоминает Евгений Никифорович.— Суббота, утро, выходной день... И вдруг будто ледяной водой окатили. Живу недалеко, добрался минут через пятнадцать. И не поверил тому, что увидел, точнее, не поверил в реальность, саму возможность случившегося. Как-то не состыковывалось это—чудесный день и такая беда...

Много месяцев прошло, а рана, видно, свежая. Рассказывая, Герасимов волнуется, какая-то тень ложится на нервное лицо. Мало похож он на бесстрастного хирурга, чей образ невольно сложился из услышанных ранее рассказов о нем. Да и сам Герасимов едва ли не главным для своего дела качеством считает хладнокровие — холодную, рассудочную голову, способную без излишних эмоций определить работу рукам.

С уважением гляжу на них. Мне, непосвященному, боязно даже прикоснуться к обожженной «Данае», а им врачевать, залечивать эти тусклые рубцы, оставленные кислотой.

Чего только ни перевидал Герасимов за 26 лет, отданных Эрмитажу. Пришел сюда учеником реставратора на крохотную, я бы сказал, насмешливую зарплату, и сколько бы заманчивых вариантов ни предлагала впоследствии жизнь — не ушел, сердцем прикипев к своей кропотливой, безмерно ответственной работе.

В ней пригодились, нашли применение его способности живописца, графика, талантливого резчика по дереву, ну, а опыт, смелость даровали общение с такими выдающимися мастерами реставрации, как Л. Н. Ильцен, А. В. Брянцев, З. В. Николаева.

Начинал тоже с робости, а сейчас в «послужном списке» Леонардо да Винчи, Рубенс, ван Дейк, Матисс, Пикассо...

Специалистом считается редкостным, и все-таки главный экзамен, как думает сам, сдавать приходится сейчас — с повреждениями такого рода ни ему, ни кому-либо в стране сталкиваться не доводилось.

Но когда я завел речь о трудностях, возникших перед ним, его молодыми коллегами А. Рахманом, Г. Широковым, Евгений Никифорович посоветовал начать с иного—с науки.

— Наше основное «оружие»,— пояснил он,— кисть, скальпель, марля, вата. Но в этой уникальной ситуации только ими, только личным умением не обойтись — стратегию диктует наука.

Да, восхищаясь статуэткой, изваянной тысячелетия назад, ощущая восторг, испытанный в минуты вдохновения мастером эпохи Возрождения, мы чтим гений создателя и редко задумываемся над тем, какая бездна веков, пространств, событий разделяет нас, какой тяжестью обрушились они на его творение.

Очарованные искусством, ароматом старины, мы забываем об этом потому, что об этом неустанно думают около ста сотрудников Эрмитажа, в служебные обязанности которых входит забота о добром здравии всех экспонатов одной из крупнейших сокровищниц мира. Не только люди, имеющие специальное художественное образование, но и физики, химики, биологи состоят в штате отдела научной реставрации и консервации, рамки деятельности которого поистине безграничны, ибо в сфере его интересов вся неисчерпаемая история, культура человечества. Памятники ее требуют не просто сохранения, а, кажется, невозможного — бессмертия, и успехи последних лет, достигнутые реставраторами в предотвращении естественных процессов старения экспонатов, позволяют с оптимизмом смотреть в самое отдаленное будущее.

Приборы, имеющиеся в их распоряжении, дают возможность заглянуть в далекое прошлое, подтвердить или опровергнуть те или иные гипотезы, относящиеся к творчеству прославленных мастеров, проследить многие стадии самого процесса работы над произведением.

— Создав «Данаю» в 1636 году, Рембрандт, как известно, через десять лет счел необходимым внести существенные поправки в первоначальный вариант,— рассказывает заведующая лабораторией реставрации живописи Т. Алешина.

Она подводит меня к огромному, в натуральную величину картины, рентгеновскому снимку. На ней как бы два изображения — сквозь то, что привычно, пробиваются иные, незнакомые детали. Детали, увиденные через три с половиной столетия.

Но и это далеко не все. Татьяна Павловна знакомит меня со снимками, сделанными в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, рассказывает о кропотливой работе сотрудников физической, химической лаборатории, воистину «поверивших алгеброй гармонию», детально исследовавших структуру материалов, совокупность которых, собственно, и составляет картину.

Да, гармония и в самом деле крепко сдружилась с математикой, что лишний раз подтвердила старший научный сотрудник Государственного оптического института имени С. И. Вавилова Н. Груздева, предложив мне заглянуть в окуляр дистанционного колориметра — прибора, предназначенного для измерения цвета.

Не буду вдаваться в подробности, которые дотошно растолковывала Нина Ивановна, рисуя на ватмане схемы и графики, характеризующие принцип и суть его работы. Скажем, золотой дождь, в виде которого проник к Данае влюбленный Зевс, не может быть чуть более или менее «золотым», он должен быть точно таким, каким почувствовал его Рембрандт, вернее, каким дошел он до нас за минувшие века. Эталонную достоверность авторского цвета фиксирует колориметр, по данным которого и сверяются реставраторы.

— Ну, а если с помощью сканирующей головки измерить, записать цвет буквально каждого миллиметра картины, занести эти данные в память ЭВМ — ведь это же своего рода гарантия бессмертия любого полотна. Что бы ни случилось — абсолютно точная его копия сохранена на магнитной ленте!

— Полагаю, что рано или поздно и такое станет возможным,— буднично заметила Нина Ивановна.

...В каком состоянии я увидел «Данаю»? Первое впечатление было, что мимо картины каким-то образом промчался грузовик, колесо которого попало в лужу. Брызги, угодившие на полотно выше фигуры Данаи, стекая вниз, оставили темные полоски. Так и кажется — аккуратно стереть их, и все будет в порядке. Если бы так просто...

Страшно подумать, что все могло быть куда хуже. И следует отдать должное сотрудникам Эрмитажа, не растерявшимся в решительную минуту неожиданных испытаний. Единственно верным оказалось парадоксальное, на первый взгляд, решение заместителя директора В. Суслова привлечь на помощь картине злейшего врага живописи — воду. Свыше часа, пока не прекратилось действие кислоты, обмывали полотно, а потом сумели эффективно укрепить отсыревший красочный слой, разгадать еще не один десяток загадок, неизбежно возникавших в процессе спасения «Данаи». И все «с листа», основываясь на опыте, интуиции.

И вот что еще примечательно.

— Узнав о происшедшем, с предложением помощи к нам обратились объединения «Красногвардеец», ЛОМО, «Пигмент», ЛГУ имени А. А. Жданова, другие организации,— рассказывает Г. Широков.— И хоть душа болела, довелось в те минуты испытать и радость — так искренне отнеслись ленинградцы к судьбе «Данаи».

И нет сомнения, что спустя какое-то время мы вновь встретимся с ней — возрожденной и лучезарной, как прежде.

Фото Льва ШЕРСТЕННИКОВА



Алла ГЕРБЕР

РАССКАЗ

ЖАНКА

Рисунок Валерия КАРАСЕВА



Мне было пять лет, а Жанке — восемнадцать, и она училась на первом курсе в медицинском институте. Жанка — моя двоюродная сестра, которую я любила, как родную, тем более что родных сестер у меня не было. Перед самой войной она приехала к нам на каникулы — веселая, хорошенькая, плясунья-хохотунья... Она успевала за день обегать четыре музея, а вечером попасть в Большой или МХАТ (для нее почему-то обязательно находился «лишний» билет), а ночью, не останавливаясь, обо всем рассказать, изобразить, спеть, насмешить и, поспав три часа, мчаться утром в очередной музей, потому что дней осталось... ничего не осталось, а она еще не была... нигде не была. Когда Жанка уехала, даже в нашем шумном доме наступила неестественная тишина. Во время войны мы нашли Жанку в Ташкенте — красотку, королеву медицинского института, похожую, как мне тогда казалось, на всех известных киноактрис. Я смотрела на Жанку с восхищением, потому что она была девушкой моей мечты, и не только моей, если судить по свите, которая ее сопровождала. И все-то на ней (в ней) было ладно, кокетливо и притягательно. И стройные, быстрые ноги в маленьких, как сейчас помню, черных лодочках, и косынка в мелкий синий горошек, с продуманной небрежностью повязанная вокруг шеи, и каштановые волосы, в естественной, непарикмахерской свободе падающие на плечи, и белый халатик, который она каждый вечер стирала и крахмалила, сидел на ней, как элегантное вечернее платье... Жанка-юла, Жанка-хохотунья и говорунья, идеал девчонок, любовь многих мальчишек, которых она провожала на фронт, пока однажды сама не пришла прощаться с нами...

И стала Жанка фронтовой подругой... Сестрицей Жанкой, доктором Жанной, капитаном медицинской службы Жанной Львовной... По ее письмам я изучила географию Украины, Белоруссии, Польши, Венгрии и Германии. А уже перед самым концом войны в них появились аккуратные, выписанные красивым, четким почерком постскриптумы — уважительно-вежливые, доверительно-родственные — с многозначительной подписью «ваш Саша». Потом «наш Саша» стал сам писать нам, и папа читал эти письма вслух, потому что «наш Саша» был остроумным, каждое его письмо было в стихах, за юмором которых он прятал свою к Жанке серьезную любовь.

А потом они появились вместе, и не было пары красивее. Саша оказался совсем «нашим Сашей». Придирчивые мои родители сказали Жанке, что он свой, родной, так что пусть она будет счастлива. И Жанка была счастлива, только недолго. Она уехала с «нашим Сашей» на Колыму, в Магадан, где он, майор по чину, был начальником военного госпиталя. А через шесть лет, родив двух таких же красивых, как они, сыновей, Жанка вернулась с ними в Одессу, куда от медбрата Саши, санитара Саши, вахтера Саши приходили скудные алименты, а то годами не приходило ничего, и никто не знал, жив ли Саша. Сначала Жанка без детей еще ездила к нему, поверив уверениям «завязать», «бросить», «начать все сначала». Но проходил месяц, и он «развязывал», бросал не водку, а ее и начинал все сначала — издеваться, глумиться... Бить. Поверить в это было невозможно — я тогда еще не понимала, на что способна водка, ее разрушительная сила казалась мне преувеличенной. И тем не менее это было так. «Наш Саша» — изящный, тонкий, изысканный, открывший мне Анну Ахматову, с которой жил в Ленинграде на одной улице, танцующий с Жанкой полонез в нашей шестнадцатиметровой комнате,— напиваясь, бил Жанку, Жанетту, фронтовую подругу, плясунью-хохотунью, которая прошла с ним весь фронт и по своей воле поехала не срок отбывать, а жить и радоваться жизни в Магадане и на Колыме.

В Москву она больше не приезжала, не до того было: надо было растить детей, зарабатывать на детей, воспитывать детей... После института я наконец сама поехала в Одессу. Жанка встретила меня на «своей» машине «Скорой помощи», со своим «персональным» шофером Жорой и «личным адъютантом» — полногрудой, вытравленной перекисью блондинкой Лизой. Она так и прошла со своим «экипажем» двадцать пять лет борьбы за человеческие жизни... Все ее большие и малые сражения, ночные и дневные наступления с короткими передышками, в которых, как на фронте, несколько часов тревожного сна — и пошла жить-бежать дальше. От постоянного недосыпания и курения у нее рано появились морщины у глаз, но это была все та же Жанка, всешняя подруга, которая никогда не откажется заменить, подменить, срочно выехать на тяжелый случай, сделать укол соседке по двору, ночью измерить давление одинокому старику в их многодверной коммуналке, за которыми притаились всевозможные болезни, поджидающие возвращения Жанночки домой. Засыпая на ходу, она вскакивала в любую минуту, потому что на кухне варился борщ, кипело белье, поднялось тесто для пирожков... И опять куда-то запропастились мальчишки, на соседней улице ждала больная, у которой хрипы, а у Жанки идеальный слух, легкая рука, веселый голос... «С нашей Жанночкой и умирать нестрашно,— говорили соседи,— пусть она будет себе здорова...» Всем с ней было весело, нестрашно, легко... Только с самой собой ей было пусто, муторно и одиноко. Но тогда она еще это тщательно скрывала — закурит «Беломор», расчешет пятерней теперь короткие, под мальчишку, каштановые волосы, проведет помадой по губам — и мчится жить дальше, вернее, давать эту жизнь другим, и все ловко, быстро, на полном ходу.

Иногда в отпуск она приезжала к нам в Москву и носилась теперь уже не по музеям, а по магазинам, пытаясь реализовать длинный список необходимых всему дому товаров. Чертыхаясь и тем не менее огорчаясь, когда не могла выполнить чье-то поручение, например, купить недорогую хрустальную чешскую люстру для сестры тети, которая приехала к дяде... Как девчонка, радовалась, когда что-то покупала себе («Грешу, не имею права, Витьке на ботинки не хватает»). И тогда глаза ее сверкали, ноги выделывали прежние па, и она, уже сорокапятилетняя, кружилась по комнате и становилась прежней красоткой Жанеттой, похожей на французскую актрису Николь Курсель (вернее, та, о чем она, конечно, не подозревала, была похожа на Жанку) — после фильма «Папа, мама, служанка и я» мы ее иначе, как Жанетт Карусель, не называли.

Не так уж часто бывала я в Одессе, но при первой возможности рвалась туда, чтобы повидать мою Жанку, покурить с ней «Беломор», забравшись с ногами на громадную, во всю комнату, тахту «Лира», о жизни с ней поговорить, которая не очень-то нам улыбалась, но мы ее, жизнь эту, любили и, хохоча, рассказывали друг другу об очередных своих неприятностях, а бывало, и плакали — чего уж тут стесняться...

Она по-прежнему встречала меня на вокзале или в аэропорту на своей персональной «Скорой», с тем же, теперь располневшим, черноусым шофером Жорой и ставшей совсем неподвижной, царственной Елизаветой.

«Привет, сестрица!» — кричала Жанка еще из машины, привычным жестом сдергивая с головы белую шапочку, под которой волосы с каждым моим приездом становились то рыжее, то краснее (в зависимости от качества хны и басмы, а главное — времени, которое она на них тратила). Но голос тот же, девчоночий, и пачка «Беломора» в день почему-то не сделала его осипшим. И носится с той же скоростью, и опять на двух ставках, и ночные дежурства, потому что за них платят больше, а Саша давно на инвалидности, денег от него почти не бывает — так, иногда десять — пятнадцать рублей, не больше... Вот Витька скоро окончит училище, пойдет в плавание — тогда... все к черту, поеду на курорт... погуляю... только вы меня и видели...

Рано утром, после ночной, она всегда ездила на самый дальний рынок — Привоз, где подешевле, и я не помню ее без тяжелых сумок — даже тогда, когда ей категорически запретили их носить. Не помню без суконок, щеток, тряпок, кастрюль, бака, корыта, где вечно кипятилось белье уже подросших, но от этого не ставших более аккуратными сыновей.

— Но, Жанка, так нельзя, ты убиваешь себя, они должны тебе помогать, они должны тебя жалеть, ты на них...

Она сердито меня перебивала:

— Только не говори, что потратила на них всю жизнь, а на что мне еще ее было тратить? Это я виновата, что выбрала им такого отца, так что давай не будем...

— Ну хорошо, хорошо, ты в долгу, а они? Они ничего не должны? Два здоровых парня смотрят, как ты вкалываешь...

— Пошла к черту,— злилась Жанка, прикуривая папиросу от папиросы.— Что ты мне мораль читаешь, сама такой будешь. Они меня любят. Когда я их прошу, помогают. Но зачем, когда я, слава богу, здорова баба и мне проще сделать самой, чем просить, да еще натыкаться на отказ... Знаешь, обидно, уж лучше самой, так спокойнее.

И они привыкли, что она сильная, что не умеет уставать, что ей скучно без дела. Что таскать тяжелые сумки, дежурить две ночи подряд, а после этого надраивать квартиру, печь им пироги, жарить любимые блинчики — все это норма для их Жанки, которую они действительно любили и дарили ей по праздникам подарки. В такие дни лицо ее светилось, и она заговорщически подмигивала мне: вот видишь, а ты говоришь... И я ничего больше не говорила.

И она привыкла. Привыкла лечить других, привыкла, что все кругом больны — все, кроме нее, и потому долго не обращала внимания на собственные недомогания, запустила болезнь, которую если бы вовремя... Если бы... Но тогда это была бы не Жанка. Она настолько привыкла болеть за всех, что о собственной болезни и думать себе не позволяла. Она всегда бодрилась, придумав себе стиль неутомимой и неистребимой,— так ей было легче, так меньше тосковала по необходимой женщине заботе, таком обязательном, в любом возрасте, внимании к себе. Но она бодрилась, делала вид, что все в порядке,— ей страшно было признаться, что она, в сущности, совсем одна. Что два здоровых парня, которых она, так рано потерявшая мужа, любила со всей ЕМУ не отданной, с НИМ не прожитой женской любовью, разрешали ей тянуть непосильный для женщины воз. Они были славные ребята — остроумные, красивые, легкие... Настолько легкие, что терпеть не могли обременять себя трудностями, тем более что Жанка так легко брала их на себя. Не очень напрягаясь, они вполне прилично учились — иногда хуже, иногда лучше, в зависимости от настроения, но особого повода для вызова в школу не давали — Жанка сама туда заезжала, чтобы спросить, не надо ли кому чего в смысле медицинской помощи... В компании за столом им просто цены не было — анекдоты, шутки, вполне одесский юмор... Нет, они были симпатичные ребята — признаться, я тоже их любила. Ну, а то, что Жанка — сумки, Жанка — уборка, готовка, Жанка — работа не по силам, что с ней не пропадешь, а сама пропадала... Так кто же это видел, она ведь молчала, ничего не говорила.

Только в последний мой приезд Жанка призналась, как тосковала от своего одиночества, забивая его работой. Как стеснялась сыновей и потому не разрешала поклонникам приходить к ней, а с годами и отказывать стало некому, никто особенно не рвался. Как по вечерам сидела одна перед телевизором, часто не видя, что по ящику этому показывают, потому что всегда ждала, всегда волновалась, где они, ее мужчины, которые никогда не приходили в обещанное время, а она, насмотревшись на «Скорой» драк, катастроф, аварий, боялась, что с ними что-то случилось. А с ними ничего не случалось — просто не хватало двух копеек на телефонный звонок. И когда она, не выдержав, ложилась спать на свою громадную,

в полкомнаты, тахту «Лира», ужин под белой салфеткой всегда ждал их.

Только в последний мой приезд она призналась, что неважно себя чувствует. Но по-прежнему работала на «Скорой» и от ночных дежурств не отказывалась — но не спать после них уже не могла. И когда ее звали срочно сделать укол или измерить давление к одинокому соседу, у которого оно по-прежнему, вот уже сколько лет, скакало («Жанночка-розочка, Жанночка-цветочек, я вхожу в криз...»), она не вскакивала с прежней легкостью, а медленно подымалась, механически, без зеркала, проводила помадой по губам, зачесывала пятерней рыже-красные волосы, хотя раз в месяц добросовестно красилась и причесывалась в парикмахерской, но все это без прежней радости обновления и затаенной надежды, что однажды откроется дверь и войдет военврач в парадном мундире и, протянув руку, уведет ее обратно в счастливую жизнь на... войне.

После операции ей строго-настрого запретили вести прежний образ жизни. Месяц или два она, как советовали врачи, берегла себя, но, быстро забыв о мерах предосторожности, благо какое-то время чувствовала себя лучше, опять ехала на Привоз, где подешевле, и, желтая от усталости, еле доплеталась с тяжелыми сумками домой. Но... папиросу в зубы, волосы под косынку — и... суконкой по паркету, тряпкой по шкафам, одна нога на кухне, другая у соседей... А мальчики, счастливые, решили, что все по-прежнему, что их



Жанка молодец, что она сильная, что с ней не пропадешь... Птица Феникс, которая горит, не сгорая, Ванька-встанька — упадет и опять подымется. И когда однажды она не смогла подняться, они растерялись. Они не на шутку испугались, потому что заблудились в собственной квартире.

Незадолго до смерти Жанка приехала в Москву. Это было Девятое мая — тридцать лет со дня окончания войны. Жанка наконец выбралась на встречу со своими однополчанами. В новом вишневом, к глазам, костюме, в тесных туфлях на непривычно теперь высоких каблуках, тщательно уложенная в парикмахерской — крутые завитки после свежей химической завивки, с орденом Красной Звезды, оттягивающим легкий шелк костюма, Жанка казалась чужой и официальной — не Жанка, а представитель высокого учреждения, делегат на сессию... Она очень волновалась, узнают ли ее «ребята», и от волнения становилась еще строже, еще меньше похожей на себя. Она точно окаменела от страха — не смеялась, не шутила, не рассказывала новые анекдоты. Стояла на балконе и курила папиросу за папиросой, от чего бледнела еще больше. Не пила, не ела, а только заглатывала таблетки, пытаясь унять надвигающиеся приступы боли. Я хотела ее проводить, боялась, что в таком состоянии она не дойдет до ресторана «Прага», где должна была состояться торжественная встреча, но она категорически отказалась: «Я сама...» Сама, так сама. Опять сама. Уже на пороге она вдруг остановилась: «Может, не идти, а? Нет, ты скажи, узнают меня?»

«Узнают, Жанка, как тебя не узнать... Ни пуха...»

«К черту»,— словно самой себе ответила Жанка и пошла к лифту твердым солдатским шагом, забыв о своих высоких каблуках. Узнают, подумала я, хотя секунду назад сама не верила своим словам. Не верила, что в этой высохшей, выбеленной пудрой, чтобы скрыть землистый цвет лица, завитой и отлакированной, с тяжелыми веками, закрывшими ее когда-то большие, хохочущие, вишневые, как у нашей погибшей бабушки, глаза, бывшие однополчане узнают свою Жанетту, которая танцевала с красавцем майором вальс в Будапеште, в Варшаве и в Берлине.

Но когда поздно ночью она вернулась, это была прежняя Жанка. Напряжения как не бывало, глаза смеются, волосы растрепались и приобрели прежнюю естественную непричесанность, в руках туфли («Сто лет не танцевала...») и охапка красных гвоздик.

«И Василий узнал, начальник штаба, и Куценко — красавец мужчина, а сейчас... Ты бы посмотрела, на кого он стал похож. Но сразу кинулся — «Жучка, мой танец первый!» А полковник Кторов поднял тост за меня... Знаешь, что он сказал? Нет, куда тебе сообразить, что сказал полковник, который больше двух слов вообще никогда не говорил. Нет, ты записывай, записывай, тебе это для очерка пригодится... А то все о других да о других... А ты обо мне напиши.— И просто залилась от смеха, что кому-нибудь может прийти в голову написать о ней.— Ну, ладно, писательница, слушай...» — и замолчала.

Я думаю, что для нее это были очень важные слова, может, те самые, которых она давно ждала, и потому ей так трудно было их произнести. «Он сказал...— Жанка закурила и опять надолго замолчала.— Он сказал, что хороших врачей на войне было много, но таких красивых, таких ни на кого не похожих женщин, как Жанна Львовна, он не встречал никогда... Нет, ты слушай, слушай, писательница,— по-видимому, от смущения повторяла она не свойственное ей ко мне обращение.— Потом он сказал, что был влюблен в меня, но где ему было тягаться с красавцем Александром... И тогда кто-то крикнул: «А почему этот гад не приехал?» — и все зашикали, все давно знают, что с ним... Ну, а я заревела, и стало очень тихо, слишком тихо, потому что никто на фронте не видел, чтобы я плакала...»

В ту ночь я навсегда прощалась со своей Жанкой, потому что, когда через полгода примчалась, получив телеграмму, в Одессу, она не встретила меня ни на вокзале, ни в аэропорту. Никто не выбежал мне навстречу из «Скорой», не крикнул: «Привет, сестрица!» Не промелькнул на перроне белый халат, не сверкнула вдалеке красно-рыжая шапка коротких волос. В чистой, словно к празднику прибранной Жанкиной комнате на широкой, в полкомнаты, тахте «Лира» сидели, прижавшись друг к другу, два красавца парня и в полный голос рыдали.

«Мамы больше нет... нет... нет»,— повторяли они, и страшно было смотреть, как в беспомощности и подлинном горе плачут ее мужчины, ее единственные мужчины, которым она лепила после дежурства вареники с вишнями, тащилась на Привоз за синенькими, отбивала молотком отбивные, стирала, гладила и... ждала, всегда ждала...

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

Начало см. на стр. 6—7.



Колхоз имени Вострецова начинался со стойбища на таежной речушке Арке. И было первых артельщиков всего-то сорок девять человек, из которых сорок один числились бедняками, а остальные восемь — батраками. Неграмотных — сорок, девять — малограмотные. Только в тридцать пятом выросли здесь восемь рубленых изб. Большим событием в жизни вострецовцев стал клочок — что-то около одного гектара — земли, на котором они посадили картофель и капусту. Первая корова, положившая начало колхозному стаду, появилась в канун войны. Лишь в пятидесятом вспыхнул в домах электрический свет. А еще четыре года спустя пробился в Арку по зимнику первый трактор. Это время знаменательно еще и тем, что удалось окончательно победить на побережье страшную болезнь — цингу. Картошка с капустой, что первыми начали выращивать на мерзлоте вострецовцы, сыграли здесь не последнюю роль.

Петр Максимович Чернецкий ничего этого не видел. В пятьдесят девятом приехал показаться на глаза теще, да так и остался. Вот уже более четверти века живет и трудится здесь, детей вырастил и сам вырос от механика до руководителя большого хозяйства.

Рассказывая о нем, обязательно надо помянуть добрым словом предшественника — Василия Андреевича Теплова, который в течение двадцати пяти лет был бессменным председателем артели. Сейчас бороздит Охотское море колхозный сейнер «Василий Теплов». Но самая крепкая память об этом замечательном человеке — в нынешних делах вострецовцев.

В свое время, хотя и недолго, мне посчастливилось работать под началом Василия Андреевича, видеть его, как говорится, в деле. Характер у него вполне соответствовал фамилии — так и веяло от него теплом, сердечным участием. Но и тверд был в намерениях, неотступен в осуществлении планов. Одним из первых в районе понял: чтобы хозяйству набирать силу, богатеть год от года, надо перебираться из тайги к морю.

И было два «великих переселения», после чего и оказался колхоз на самом берегу Охотского моря, где стоит и поныне. И, смотрите, как мудро, как человечно была решена проблема! Ни нажима, ни волевого давления на людей. Кто не захотел, не смог оторваться от оленей, остались в тайге и образовали новое хозяйство имени XX партсъезда. Остальные ушли вслед за вожаком, поверив в его мечту.

Раньше других понял Василий Андреевич и то, что на древних кунгасах да ставными неводами много рыбы не наловишь. Хозяйству нужен свой флот, способный уходить далеко от берегов, активно искать и находить в море косяки рыбы. Значит, надо покупать сейнеры, приглашать капитанов, механиков...

Многое из задуманного успел сделать Теплов, но коротким оказался отпущенный ему срок, и теперь намеченную им долговременную программу вот уже полтора десятилетия осуществляет Чернецкий.

Внешне, пожалуй, Петр Максимович из тех, кто и ладно скроен, и крепко сшит. В простом, бесхитростном лице — и чисто крестьянская сметливость, и твердость характера «морского волка». Нрав у него, я бы сказал, жесткий, но не жестокий. Предприимчив. Расчетлив, но не скареден. Задумывая новое дело, не торопится. Долго изучает его, советуется со специалистами, подсчитывает, ищет единомышленников. И когда решение созревает, выходит, что и убеждать никого не надо, и голосовать нет нужды — все «за».

На новом месте, еще при Теплове, вплотную занялись строительством. И, конечно же, традиционным дедовским способом: жилье ли, хозяйственные постройки — все из дерева. Но то, что годилось в тайге, оказалось негожим на побережье. Особого вида грибок за два-три года превращал дерево в труху. Новую двухэтажную школу даже пришлось сжечь...

Где выход? Кирпич? За морем телушка — в полушку, да рубль — перевоз. В Хабаровске цена одному кирпичу пять копеек. Но пока довезешь его до села, он уже обходится в пятьдесят пять. Придумали свой способ — литой пористый бетон. Наполнитель — галька, которой усыпано все побережье. На месте сожженной школы построили новую, из бетона. С нее и пошел нынешний поселок.

Петр Максимович еще полтора десятка лет назад твердо усвоил истину, что сегодня стала прописной: прежде всего надо строить жилье.

— Будет жилье, будут кадры,— рассуждает он.

За две последние пятилетки в колхозе появились три 18-квартирных дома и около полусотни двухквартирных коттеджей. Однако не жильем единым жив человек. Детский сад с бассейном, Дом культуры, комбинат бытового обслуживания, здания сельсовета и правления с АТС, радиостанцией, сберегательной кассой, почтой и гостиницей, торговый центр с продовольственным магазином и кафе-столовой — все это построили в селе в то же время.

Когда в детском саду оборудовали бассейн, обиделись школьники. Пришлось и для них купель соорудить. Теперь взрослые чувствуют себя обделенными. Поэтому в ближайших планах Петра Максимовича построить бассейн и для них. Казалось бы, мелочь, где-нибудь в центральных областях России и не в диковину. Но в Охотии! Море в двух шагах, только в него и в самый разгар лета не окунешься — обожжет ледяной водой.

Не только плавательный бассейн собирается строить Петр Максимович. На очереди спортивный комплекс. Еще шире разворачивает строительство жилья. Он считает, если парень женится, надо сразу на двоих давать трехкомнатную квартиру — на вырост.

До сих пор помнят охотчане знаменитую фразу, что выпалил однажды один из крупных руководителей рыбного хозяйства:

— Что вы мне все толкуете про соцкультбыт? Да я пришлю на время путины в район лова две плавбазы, и никакого соцкультбыта не понадобится...

Правда, говорят, сказал сгоряча. Теперь этот начальник пошел в гору — Николай Исаакович Котляр недавно возглавил Министерство рыбного хозяйства СССР. Остался ли он при своих прежних взглядах?

У Петра Максимовича другая точка зрения на обустройство здешних мест.

— Понимаешь,— просто объясняет он,— люди должны здесь рожать детей, здесь растить их. Тогда у нас будут крепкие корни, тогда не будет на охотской земле временщиков.

Между прочим, в районном центре и по сей день у жилых домов стоят вереницы бочек для запасов воды. Далеко не везде, увы, есть канализация и центральное отопление. А в деревне, как ласково называют свое село вострецовцы, эти проблемы давно решены.

...Вот перечитал уже написанные строки и вижу, что уж больно легко у Петра Максимовича все получается...

Галька у Чернецкого под рукой, можно сказать, дается почти бесплатно. А цемент? По размаху строительства колхозу его надо до тысячи тонн в год, а выделяется в три-четыре раза меньше. Крайрыбакколхозсоюз действует по старой поговорке: всем сестрам по серьгам. В итоге выходит, что цемента вострецовцы получают столько же, сколько и те, кого строительство не очень-то заботит. Но все равно берут. Про запас, на всякий случай. Таким же образом распределяются фонды и на деловой лес, металлоконструкции, кровельные материалы.

Крайрыбакколхозсоюз — учреждение, вроде бы призванное координировать деятельность рыболовецких колхозов, всячески помогать им. Но на деле случается, что и мешает. Больше всего меня удивила строка в разделе расходов финансового плана колхоза, где черным по белому написано: отчисления на содержание рыбакколхозсоюза. И проставлена сумма — 200 тысяч в год. Выходит, колхоз содержит эту административную надстройку, а она еще и палки ему в колеса...

Не один рыбакколхозсоюз мешает вострецовцам. Испытывая острую нехватку цемента, стали они искать выход. И нашли. В районе имеется несколько залежей базальта — горной породы, из которой можно изготавливать отличный утеплитель в виде супертонкого волокна. Правда, нужны очень серьезные научные разработки, дорогое оборудование. Как всегда, начали рассчитывать, прикидывать, изучать. Получалось, дело выгодное. Связались с Академией наук Украинской ССР, где в одной из лабораторий была разработана перспективная технология. С геологами провели химический анализ местного базальта. В Свердловске заказали платиново-иридиевые питатели для установки, в Киеве — все оборудование, подготовили операторов. Этот длинный перечень — лишь десятая часть всех хлопот по налаживанию производства утеплителя. А концы-то какие! Сколько сил, средств, времени!

Самым трудным препятствием оказалась косность местных руководителей. В архиве Петра Максимовича видел письмо в крайком партии с просьбой о помощи. На нем стояла размашистая резолюция руководящего товарища: «Не беритесь не за свое дело. Ваша задача — давать стране рыбу».

Но и это одолели вострецовцы. Минувшей осенью, ко всеобщей радости, колхозники запустили цех базальтового волокна. Легкое — всего лишь 27 килограммов весит кубометр, дешевое — рубль двадцать девять копеек тот же кубометр и, главное, хорошо сохраняет тепло. Не менее важно и то, что со временем вострецовцы смогут обеспечить чудо-утеплителем и другие хозяйства района.

Мы уже рассказывали в предыдущем номере, как «силовым приемом» Петру Максимовичу навязали тысячное стадо оленей, которое при таком поголовье заведомо нерентабельно. Тогда никто из краевых руководителей не подумал, что главное для рыбака — ловить рыбу. Но, может быть, хитрит Чернецкий, выгадывает, выбирает лишь то дело, кото-

рое наверняка принесет доход хозяйству? Ни в коем случае. Вот ведь вполне сознательно в колхозе построили теплицу, где выращивают огурцы и помидоры, хотя ежегодно теряют на этом десять тысяч рублей. Держат стадо коров, молоко от которых обходится колхозу в 93 копейки за литр, а покупают его вострецовцы по 42. Выращиваются здесь картофель и капуста, которые называют «золотыми» — обе культуры убыточны. Но колхоз идет на такие траты, проявляя заботу о людях. В случае с оленями такой заботы как раз и не было...

Еще Василий Андреевич Теплов утверждал, что рыбакам выгодно не только ловить рыбу, но и самим ее обрабатывать. Петр Максимович осуществил идею, оборудовав на острове Спафарьева базу рыбообработки. Что такое база? Это и жилье, и столовая, и клуб, и электростанция, и, конечно, цехи. Огромная стройка, большие затраты. Если учесть, что от Вострецова до острова 300 миль морем, трудно переоценить смелость, с которой колхоз решился на это предприятие. Зато теперь у вострецовских сейнеров нет проблемы со сдачей уловов, и уже не первый год база исправно приносит хозяйству около двух миллионов чистого дохода.

Нет, не боятся дальневосточники больших расстояний. Взгляните на карту, сколько километров от Охотского моря до Азовского? Именно там колхоз построил пансионат для своих тружеников. А что, пусть северяне поплещутся в теплом море. База рыбообработки на острове Спафарьева с ее доходами и позволила вострецовцам получить «свое место под южным солнцем».

В прошлом году во время осенней сельдяной путины довелось мне работать на островной базе. И вот с какой проблемой пришлось столкнуться. Пришел в бухту Беринга огромный сухогруз. Привез нам шестьдесят тысяч бочек. Не буду расписывать нелегкий труд по его разгрузке — есть на острове и потяжелее работенка. Скажу лишь, что невеселые размышления вызвала эта самая бочка-тара.

Спору нет, наряду с колесом она, пожалуй, одно из гениальных изобретений человечества. Поставь ее на попа — стоит как вкопанная. Переверни и, будет в ней хоть десять пудов, верти в любую сторону чуть не одним пальцем, кати. А попробуй-ка сдвинуть с места ящик того же веса! Хороша тара. Но вот какие мысли невольно приходят, когда работаешь в трюме на разгрузке. Бочка-то пустая. Выгодно ли ею загружать огромные суда, перевозить на большие расстояния? Спросил у моряков с сухогруза:

— Откуда привезли бочку?

— Из Калининграда.

— Как шли?

— Южным путем.

Еще раз взглянем на карту. Как можно добраться из Калининграда до Охотии южным путем? Сколько это тысяч миль? Рублей сколько?

На эти вопросы с бухгалтерской точностью ответил позже Петр Максимович:

— От Калининграда до Охотска 13 тысяч миль. Перевозка бочки стоила нам 1 миллион 365 тысяч 543 рубля и «съела» четвертую часть дохода от базы рыбообработки.

Вот так, по существу, за перевозку воздуха колхоз платит ежегодно огромные деньги. Морфлоту все едино, ему лишь бы платили, а то, что трюмы и наполовину не загружены, не беда.

А у колхоза иного выхода нет. Единственные в Хабаровском крае два бондарных завода (Дурминский и в Маго) сгорели еще лет пять назад и по сей день полностью не восстановлены. Ни Министерство рыбного хозяйства, ни промышленное объединение «Дальрыба», ни крайрыбакколхозсоюз это, видимо, не волнует. Петра Максимовича волнует, и поэтому он собирается у себя в Вострецове строить свой бондарный цех.

Есть у затронутой проблемы и еще одна, на мой взгляд, сторона. Бочка, при всей гениальности ее конструкции, тара безнадежно устаревшая. Именно за счет ее великолепно продуманной конфигурации в грузовых объемах — будь то трюм, вагон или склад — образуется много пустот. Кроме того, даже в заводских условиях она не технологична, трудоемка в изготовлении. По сей причине за рубежом давно уже перешли на прямоугольную тару, изготовленную из легких, современных полимерных материалов. Не пора ли и нам отказаться от бочки?

Конечно, Петр Максимович построит бондарный цех. Потому что, пока освоят новую тару, пока дойдет она до Охотии, минет не один год. Но ведь проблема-то касается всей страны...

Как часто мы сетуем: вот и деньги есть, а, скажем, справить новый костюм не так-то просто. Точно так и в хозяйстве Чернецкого. Денег на счете хватает, может сразу купить несколько судов для колхозного рыболовного флота. Но ходят вострецовские моряки по бурному Охотскому морю на старых посудинах, что строились двадцать, а то и все тридцать лет назад. И что там думают на этот счет в Госплане, в Совете Министров РСФСР, в Министерстве рыбного хозяйства — колхозникам неизвестно.

Каждый год вострецовцы перевозят морем до 25 тысяч тонн грузов. Море не Черное, нередко приходится совершать рейсы в условиях тяжелой ледовой обстановки. Рыболовные суда для подобной работы не годятся. Нужен вспомогательный флот: буксиры, плашкоуты, баржи... Еще в 1981 году по «Дальрыбе» был издан приказ, где предусматривались поставки необходимой техники. Возрадовались колхозники, да, увы, преждевременно...

Конечно, люди не сидят сложа руки. Пока контора пишет, им дело делать надо. Вот и рыщут по всему побережью, отыскивая на корабельных кладбищах давно списанную технику, и ценой огромных усилий, в обход многих воспрещающих инструкций, восстанавливают старье. И ходят на нем нередко с риском для жизни моряков.

...Можно назвать еще с десяток проблем, над которыми ломает голову Чернецкий, а вместе с ним и его коллеги — председатели других охотских колхозов. Но не лучше ли назвать причины, порождающие все эти неурядицы? Вот как видит их Петр Максимович:

— Ты только посмотри,— говорит он,— какая бюрократическая пирамида высится над рыбаком: крайрыбакколхозсоюз, Всесоюзное объединение рыболовецких колхозов, «Дальрыба», министерство... И вся эта «многоступенчатая ракета» вместо того, чтобы придать делу ускорение, мешает нам. Будь моя воля — упразднил бы все лишние звенья. А тем, кто остался — централизованное руководство необходимо,— зарплату поставил бы в прямую зависимость от конечного результата, достигнутого рыбаками. Уж тогда наверняка начальники наши больше бы пеклись о нуждах колхоза.

Так он и написал в своей статье, которая была опубликована в одной из центральных газет. Что тут началось! Мгновенно включились «силы быстрого реагирования» — в колхоз нагрянула комиссия в составе представителей Министерства рыбного хозяйства, крайисполкома и крайрыбакколхозсоюза. Выступление Петра Максимовича в печати было объявлено демагогией. А члены комиссии, вместо того чтобы разбираться по существу поднятых в статье проблем, принялись с завидным усердием копаться в документах колхоза, выискивая, за что бы зацепиться, дабы усмирить строптивого председателя. И докопались. Оказывается, цех супертонкого волокна, так необходимого жилищному строительству, построен в колхозе по проекту, который до сих пор не утвержден в соответствующих инстанциях.

— Да если бы я ждал этого утверждения, не было бы у нас волокна еще лет пять,— пытается оправдаться Чернецкий.

Куда там! Видно, руководящие товарищи и слыхом не слыхивали о Вологодском эксперименте, суть которого в том, что объекты стоимостью до миллиона рублей колхозы вправе возводить без утверждения проектов.

— Меня удивило,— рассказывает мне первый секретарь Охотского райкома партии И. А. Крейс,— что комиссия прямо с самолета отправилась в Вострецово. Выходит, подобные конфликты можно решать без участия партийных органов. Пришлось нам вмешаться в разбирательство. И только после этого комиссия несколько поумерила свой пыл.

Однако этим визитом дело не кончилось. Петра Максимовича вызвали в Хабаровск. На правлении крайрыбакколхозсоюза опять пытались «выкрутить руки». Разумеется, под благовидным предлогом объективного отношения к критике.

...Я приехал на этот раз в колхоз, когда шум вокруг статьи Чернецкого стал уже затихать. В правлении застал Петра Максимовича и его заместителей за несколько необычным делом. Они звонили в школу и просили учителей растолковать иностранное словечко «демагогия». Петра Максимовича не узнал. Он как-то сник, поугрюмел. Видно, проработка в верхах дорого ему обошлась. Потом указал на ворох бумаг, что лежали на его столе:

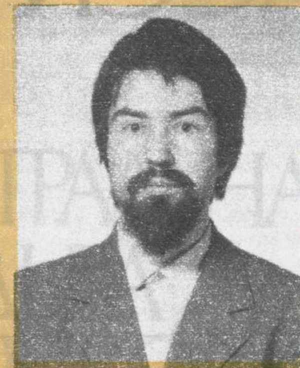
— Вот она, демагогия.

Это были телеграммы и письма, которыми обменялись колхоз и крайрыбакколхозсоюз. В первой — председатель сообщал, что задания по добыче рыбы и выпуску готовой продукции не соответствуют производственно-финансовому плану, утвержденному общим собранием колхозников. Во второй — исполняющий обязанности председателя крайрыбакколхозсоюза В. В. Шергин «разъясняет», что задания, спущенные в колхоз, «установлены крайкомом партии с целью улучшения социально-экономического развития Хабаровского края». Еще определеннее по этому же вопросу высказывается в своем письме Чернецкому председатель крайрыбакколхозсоюза И. Л. Зыков: «...Контрольные цифры плана 1987 года формировались, исходя из контрольных цифр, установленных на 12-ю пятилетку и фактически достигнутых объемов в предыдущие годы».

Вот оно — пресловутое «планирование сверху» и «от достигнутого»! Нет, Петр Максимович прекрасно толкует слово «демагогия».

Хочется думать, что он не сдался, не согнулся и по-прежнему верит в народную мудрость, которая утверждает, будто охота пуще неволи...

ДЕБЮТ В «ОГОНЬКЕ»



Александр ТРУБИН 1961 года рождения. Инженер-химик. Первая публикация в печати.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Он простоял весь день
с табличкой,
Седой задумчивый старик.
И, опоздав на электричку,
К немому дереву приник.
И дерево его узнало:
Тогда, чтоб защитить страну,
С того же самого вокзала
Не опоздал он... на войну.

* * *

Белые ночи — черные дни.
Вот мы остались с тобою одни.
Маму убило. Отмучился дед.
Дом разбомбило, и улицы нет.
Белые ночи — черные дни.
Мертвые с нами — мы не одни.

МАТЬ МОЯ

Ни холма, ни столбика,
Только похоронка.
И заплачет громко
Мать моя — девчонка.
Ни холма, ни столбика,
Только слышит ухо —
Это тихо плачет
Мать моя — старуха.

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА РАССКАЗЫВАЕТ...



Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич Булгаковы. Январь 1940 года

Владимир ЛАКШИН

С Еленой Сергеевной Булгаковой я познакомился в первой половине 1963 года. Поводом к встрече послужило то, что в журнале «Новый мир» появилась моя рецензия на булгаковскую книгу о Мольере в серии «ЖЗЛ». Елена Сергеевна позвонила мне, в традициях забытой учтивости благодаря за этот отзыв, и пригласила в гости.

В те же месяцы по счастливой случайности мне в руки попала рукопись «Записок покойника» («Театральный роман»). Я рекомендовал эту рукопись А. Т. Твардовскому, высоко ее оценившему, и началась двухлетняя история борьбы за публикацию этого произведения Булгакова в «Новом мире». Пока готовился к изданию роман, мне не раз случалось по редакционным нуждам бывать у Елены Сергеевны, однажды приезжала в редакцию и она сама.

Разумеется, я жадно слушал рассказы Елены Сергеевны о Булгакове, сам расспрашивал о нем, тем более что по ее же рекомендации должен был написать и предисловие к первому однотомнику «Избранной прозы» Булгакова (1966),— стало быть, брал на себя обязанности как бы и одного из первых его биографов (в печати сведения о нем тогда почти не появлялись).

Мало-помалу наши отношения становились все более простыми, дружескими. Я стал бывать у Елены Сергеевны часто и по-домашнему, не однажды встречал у нее Новый год, в том числе и 1970-й, последний год ее жизни.

Корю себя за то, что многие рассказы Елены Сергеевны о Булгакове остались незаписанными, кое-что, наверное, и забылось. Дружеское общение исключает профессиональные замашки интервьюера. И все же некоторые записи, в особенности того времени, когда я работал над статьями о Булгакове и специально расспрашивал ее о нем, сохранились (14 июня 1963 г., 19 мая 1965 г., 2 июня 1967 г., 29 февраля, 25 марта и 22 мая 1968 г.). Я привожу их здесь, лишь слегка отредактировав и расположив тексты в последовательности событий жизни М. А. Булгакова.

Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной в голодные, тяжкие годы. Перехватив аванс, он пригласил ее как-то выпить кружку пива. Закусывали крутым яйцом. Но, как все с ним, это было празднично, счастливо.

Е. С.: «Я в молодости, познакомившись с Булгаковым, когда его страшно ругали за «Белую гвардию», «Турбиных», сказала ему: «Ну что вам стоит написать пьесу о Красной Армии». Он посмотрел на меня страшными глазами и сказал с обидой: «Как вы не понимаете, я очень хотел бы написать такую пьесу. Но я не могу писать о том, чего не знаю».

Рассказ Е. С. о начале работы над «Мастером». Это было в мае 1929 года (а познакомились они в феврале). Вечер на Патриарших прудах в полнолуние. «Представь, сидят, как мы сейчас, на скамейке два литератора...» Он рассказывал ей завязку будущей книги, а потом повел в какую-то странную квартиру, тут же, на Патриарших. Там их встретили какой-то старик в поддевке с белой бородой (ехал из ссылки, добирался через Астрахань) и молодой... Роскошная по тем временам еда — красная рыба, икра. Пока искали квартиру, Е. С. спрашивала: «Миша, куда ты меня ведешь?» На это он отвечал только «Тсс...» — и палец к губам. Сидели у камина. Старик спросил: «Можно вас поцеловать?» Поцеловал и, заглянув ей в глаза, сказал: «Ведьма». «Как он угадал?» — воскликнул Булгаков. «Потом, когда мы уже стали жить вместе, я часто пробовала расспросить Мишу, что это была за квартира, кто эти люди. Но он всегда только «Тсс...» — и палец к губам».

В 1930 году, когда Булгаков писал письмо Сталину *, он думал, как поступить. Уничтожить рукопись — не поверят, что роман был, оставить — значит соврать (в письме была фраза, что начатый роман о Христе и дьяволе уничтожен). Вот почему Булгаков разорвал рукопись сверху вниз, от каждого листа оторвалась половина или две трети, но сохранился корешок, он и теперь в булгаковском архиве. В 1932 году Булгаков решил восстановить по памяти роман, но начал писать, конечно, другое. Тот, первый вариант был злободневнее и ближе к «Дьяволиаде».

В 1929 году, «лишенный огня и воды», Булгаков готов был наняться рабочим, дворником — его никуда не брали. После разговора по телефону со Сталиным, когда ему была обещана работа в Художественном театре, он бросил револьвер в пруд. Кажется, в пруд у Ново-Девичьего монастыря. Ново-Девичий и Пашков дом — два любимых места Москвы у Булгакова.

Когда Булгаков сблизился с Е. С., он сказал ей: «Против меня был целый мир — и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно».

Трусоватая, либерально-профессорская «Пречистенка» выдвигала Булгакова как знамя. «Они хотели сделать из него распятого Христа. Я их за это ненавидела, глаза могла им выцарапать... И выцарапывала»,— сказала Е. С. со смехом, подумав и что-то вспомнив. Булгаков, по ее словам, хотел рассчитаться с «Пречистенкой», думал то о драме, то о комедии на эту тему.

Е. С. рассказывала, как молодой Булгаков без предупреждения пришел на квартиру Викентия Викентьевича Вересаева. Позвонил у дверей, вошел, какое-то замешательство в передней (открыла ему женщина). Булгаков снимал калоши, выходит из комнаты старик. Булгаков робко и невнятно представляется: «Я — Булгаков». «Кто?» «Булгаков». «Простите, я не принимаю». Булгаков от растерянности долго ищет свои калоши и опять надевает их. Они, как назло, долго не надеваются. Стыд, ужас. Булгаков выходит, и уже на лестнице Вересаев, что-то вспомнив, окликает его: «Позвольте, позвольте, не вы ли автор «Записок на манжетах?» «Да, я...» «Так что же вы не сказали? Заходите, милости прошу!..»

Потом в тяжелую минуту он помог Булгакову. Одно время у Булгакова хорошо шли пьесы — «Турбины», «Зойкина квартира». Потом их всюду сняли, а налоги надо было платить по декларациям в конце года. Деньги же у Михаила Афанасьевича не держались. Он оказался в финансовой дыре. Газеты его грызли, печатать никто не хотел. И вдруг является к нему на квартиру Вересаев — с предложением денег. Это было необыкновенное явление — будто литература минувшего века протянула руку помощи молодому нынешнему автору.

В 1932 году Булгаков был приглашен к Горькому. Известно было, что Горький хорошо отзывался о «Роковых яйцах», хвалил пьесу «Бег» и способствовал тому, чтобы в театре начали репетировать «Мольера». Ему же принадлежала мысль, чтобы Булгаков написал биографию Мольера для одного из первых выпусков задуманной им серии «Жизнь замечательных людей».

Вернувшись после поездки в Горки, Булгаков долго молчал, а Е. С. приставала к нему с расспросами. «Ну, что тебе сказать,— произнес наконец он.— Большая красивая комната, огромный пустой стол, ваза с фруктами, на одной стороне стола Алексей Максимович, на другой, напротив него, я. Разговор не получается. В комнате много высоких дверей, и за каждой дверью во-о-от такие уши». (И Булгаков показал эти уши, широко раздвинув ладони.)

Вот как писались «Записки покойника». Однажды Булгаков сел за бюро с хитрым видом и стал что-то безотрывно строчить в тетрадь. Вечера два так писал, а потом говорит: «Тут я написал кое-что, давай позовем Калужских (сестра Е. С.— Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь дирекции МХАТа, была замужем за артистом Е. В. Калужским.— **В. Л.**). Я им почитаю, но только скажу, что это ты написала». Разыгрывать он умел с невозмутимой серьезностью лица. Е. С., по его сценарию, должна была отнекиваться и смущаться.

Пришли Калужские, поужинали, стали чай пить, Булгаков и говорит: «А знаете, что моя Люська выкинула? Роман пишет. Вот вырвал у нее эту тетрадку». Ему, понятно, не поверили, подняли на смех. Но он так правдоподобно рассказал, как заподозрил, что в доме появился еще один сочинитель, и как изъял тайную тетрадь, а Е. С. так натурально сердилась, краснела и смеялась, что гости в конце концов поверили. «А о чем роман?» — «Да в том и штука, что о нашем театре». Калужские стали подшучивать над Еленой Сергеевной, что-де она могла там написать. Но, когда началось чтение, смолкли в растерянности: написано превосходно — и весь театр как на ладони. А Булгаков все возмущался, как она поддела того-то и как расправилась с другим. Ловко, пожалуй, но уж достанется ей за это от обиженных персонажей!

Было за полночь. Калужские ушли, Е. С. собиралась спать ложиться, вдруг во втором часу ночи телефонный звонок. Е. В. Калужский подзывает к телефону Булгакова: «Миша, я заснуть не могу, сознайся, что это ты писал...»

Потом стали бывать и слушали главы книги: Качалов с Литовцевой, Михальский, Марков. Все очень веселились, а Качалов загрустил к концу чтения и сказал: «Самое горькое — что это действительно наш театр, и все это правда, правда...»

Оставил, не закончил Булгаков эту вещь потому, что отвлекли дела с оперными либретто, заказанными Большим театром, и потом — «Мастер и Маргарита». Он уверен был, что умрет

* Имеется в виду письмо М. А. Булгакова Сталину, в котором он говорит о травле со стороны критики, о своем бедственном положении как писателя и просит дать ему возможность работать в Московском Художественном театре.

в 1939 году, и спешил закончить «Мастера». После этого хотел вернуться, если успеет, к «Запискам покойника» и дописать их.

По моей просьбе Е. С. рассказала предполагавшееся Булгаковым окончание «Записок покойника». Лекция Аристарха Платоновича в театре о его поездке в Индию. (Эту лекцию сам Булгаков изображал в лицах замечательно смешно.) И Максудов понимает, что Аристарх Платонович ничем ему не поможет,— а он так ждал его возвращения из-за границы. Потом встреча в театральном дворе, на бегу, с женщиной из производственного цеха, бутафором или художницей, у нее низкий грудной голос. Она нравится ему, Бомбардов уговаривает жениться. Максудов женится, вскоре она умирает от чахотки. Пьесу репетируют бесконечно долго. Премьера тяжела Максудову, отзывы прессы оскорбительны. Он чувствует себя на грани самоубийства. Едет в Киев — город юности. (Тут Булгаков руки потирал, предвкушая удовольствие, так хотелось ему еще раз написать о Киеве.) И герой бросается вниз головой с Цепного моста.

4 марта 1936 года на последней странице «Правды» появилось известие, что проводится открытый конкурс на учебник по русской истории для 4-го класса средней школы. Е. С. застала Булгакова за тщательным изучением этого объявления. «Зачем тебе это?» — спросила Е. С. «Так, может быть, пригодится». А 9 марта появилась статья о постановке «Мольера»: «Внешний блеск и фальшивое содержание».

Булгаков вошел в комнату Е. С. с газетой: «Ты понимаешь, что это значит? Это конец». В самом деле, «Мольера» тут же сняли, сняли и комедию «Иван Васильевич», готовившуюся в Театре сатиры, а уж и афиши были расклеены на тумбах. Булгаков сказал: «Едем на Кузнецкий» — и целое утро ходил по магазинам, покупал исторические книги, курс Ключевского, карты и атласы. Дома застелил все полы картами и начал писать учебник по истории для 4-го класса. Он кончил бы его, если бы не начавшиеся к лету сильные головные боли: врачи погнали его отдыхать — в Синоп.

Булгаков вечно маялся с жильем. Пошел на собрание пайщиков в Союзе писателей. Первым в списке называют Б-на. Булгаков тянет руку. «Что сделал тов. Б-н? В чем его заслуги перед литературой?» «О, его заслуги велики,— отвечает председательствующий.— Он достал для кооператива 70 унитазов». Булгаков снова тянет руку: «Скажите, а как он это сделал?» Тут председатель не выдержал: «Сядьте, тов. Булгаков, ваша квартира № 44». Потом, когда они с Е. С. встречали этого маленького, кругленького Б-на на улице, Булгаков говорил: «Смотри, смотри на него внимательнее, в нем зреет «Война и мир»!»

Однажды в готическом зале писательского ресторана Булгаков вдруг схватил Е. С. за руку и сказал негромко: «Смотри, Коровьев...» В дверях и в самом деле будто стоял он в своем клетчатом пиджаке, с глумливой улыбкой.

Здесь же в ресторане подсмотрены «бычьи глаза» драматурга — яростного ненавистника Булгакова, над льдом, плавящимся в вазочке.

Булгаков дружил с художником В. Д., но, зная его честолюбие, желание получить орден, разыгрывал его. «Знаешь,— говорил он другу,— захожу сегодня к Ольге (Бокшанской) — у нее на столе какой-то список: Москвин, Тарасова, Ливанов, а рядом буквы непонятные — О. Л., или З. П., или О. Тр. Кр. Что бы это могло значить?» «А меня, меня не видел?» — разволновался художник. «Против твоей фамилии — прочерк». «Ах, как же ты не понимаешь, Миша, З. П.— Знак Почета, О. Тр. Кр.— Трудового Красного Знамени... Это же орденами награждают, и меня опять обошли!» В конце концов Булгаков признавался в розыгрыше, и друзья пили утешительную.

В последние недели перед смертью — планы пьесы о Ричарде, а еще прежде — вставки в «Мастера» с особым удовольствием диктовал Булгаков описания еды. Одна из последних вставок в роман — о профессоре Кузьмине, который сам становится жертвой нервного расстройства. Воробушек, пляшущий фокстрот на столе у профессора, призван открыть глаза на то, как жалка самонадеянность ученого светила. Это отголосок реальности. Елена Сергеевна рассказывала, что в сентябре 1939 года, когда в состоянии здоровья Булгакова наступило резкое ухудшение, один из осматривавших его профессоров обронил: «Ну, вы, Михаил Афанасьевич, должны знать как врач, что болезнь ваша не лечится. А выйдя в коридор, сказал так, что больной мог его услышать: «Это вопрос нескольких дней».

Вскоре стало известно, что смотревший Булгакова врач тяжело заболел и сам оказался на краю могилы, в то время как организм Булгакова еще сопротивлялся болезни. Кузьмин в «Мастере» изображен с такой ненавистью потому, что Булгаков хотел рассчитаться с самодовольным профессором.

В те же последние недели он не раз заводил разговор о Художественном театре. «Он обожал театр,— говорила Е. С.,— и в то же время его ненавидел. Так можно относиться к любимой женщине, которая от вас ушла... «Театр,— говорил М. А.— кладбище моих пьес, и я его оставляю».

Мне случалось выступать на вечерах памяти Булгакова, которые организовывала Елена Сергеевна: в институте П. Л. Капицы, в типографии «Красный пролетарий» и других местах. Сама Е. С. не выходила на сцену и даже не любила, когда ее поднимали с места аплодисментами: сидела тихо и слушала.

Однажды, когда мы ужинали у нее дома после такого вечера, рассказывала. Как-то, уже в разгар болезни Михаила Афанасьевича, он сказал: «Вот, Люся, я скоро умру, всюду начнут меня печатать, театры будут вырывать друг у друга мои пьесы и тебя будут приглашать выступать с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену в черном платье, с красивым вырезом на груди, заломишь руки и скажешь: «Отлетел мой ангел...» И мы оба стали смеяться, так неправдоподобно это казалось... но вот случилось. А я, как вспомню это, не могу говорить».

Дней за пять до смерти Михаила Афанасьевича Е. С. нагнулась над ним, поняла, что он хочет ей что-то сказать. «Мастер», да?..» Она перекрестилась и дала ему клятву, что напечатает роман. Потом, когда сама заболевала, страшно тревожилась, как бы не умереть, не выполнив обещанного Булгакову.

В 1946 году через знакомую портниху, работавшую в правительственном ателье, она узнала, что секретарь Сталина А. Поскребышев был на спектакле «Пушкин» («Последние дни»), и пьеса ему понравилась: он с сочувствием говорил о Булгакове. Она сумела передать ему записку с просьбой вручить письмо о неопубликованном наследстве Булгакова непосредственно в руки Сталину. Ей позвонили через месяц: «Письмо ваше прочитано, дана благоприятная резолюция. Недели через две позвоните Чагину (П. И. Чагин — тогда директор Гослитиздата.— **В. Л.**), он будет в курсе дела». «Я не ходила, а летала в те дни»,— рассказывала Е. С. Она поехала на дачу, выжидая назначенные ей две недели, а тут газета с постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград». «Я поняла, что все кончено. Позвонила для формы и получила ответ: «Не время».

Лишь шестая или седьмая ее попытка напечатать «Мастера» была успешной. Как ликовала она, как гладила рукой сиреневые книжки журнала «Москва»!

До начала 50-х годов на могиле Булгакова не было ни креста, ни камня — лишь прямоугольник травы с незабудками да молодые деревца, посаженные по четырем углам надгробного холма. В поисках плиты или камня Е. С. захаживала в сарай к гранильщикам и подружилась с ними, как вообще легко дружилась с простыми людьми — малярами, штукатурами. Однажды видит: в глубокой яме среди обломков мрамора, старых памятников мерцает огромный ноздреватый камень. «А это что?» «Да Голгофа». «Как Голгофа?» Объяснили, что на могиле Гоголя в Даниловом монастыре стояла Голгофа с крестом. Потом, когда Гоголю сделали к юбилею 1952 года новый памятник, Голгофу за ненадобностью бросили в яму.

«Я покупаю»,— не раздумывая, сказала Е. С. «Это можно,— отвечают ей,— да как его поднять?» «Делайте что угодно, я за все заплачу... Нужны будут мостки, делайте мостки, от сарая к самой могиле... Нужны десять рабочих — пусть будут десять рабочих...»

Камень перевезли, и глубоко ушел он в землю над урной Булгакова. Стесанный верх без креста, со сбитой строкой из Евангелия — он выглядел некрасиво. Тогда всю глыбу перевернули основанием наружу. Камень гранильщики называли почему-то «черноморский гранит». По преданию, друг Гоголя выбрал его где-то в Крыму, и долго везли его на лошадях в Москву, чтобы положить на могилу Гоголя. «Теперь разве что атомная война,— говорила Е. С.— А так никакая бомба Мишу не достанет».

Булгаков писал в письме к Попову, вспоминая Гоголя: «...Укрой меня своей чугунной шинелью». По слову и сбылось. Гоголь уступил свой крестный камень Булгакову.



ТЕАТРАЛЬНАЯ СУДЬБА БУЛГАКОВА

Константин РУДНИЦКИЙ

Стыдно сознаваться, но в юности, когда мы, студенты, простаивали ночи напролет в очередях за билетами в Московский Художественный (очередь клубилась в проходных дворах между Камергерским и Большой Дмитровкой, и даже в студеные зимы правило было жестокое: перекличка трижды в ночь), когда я сумел побывать на любимых «Днях Турбиных» 18 (восемнадцать!) раз и, конечно, пьесу знал наизусть, имя ее автора мне ничего не говорило. Сейчас понимаю, что мог бы и увидеть М. А. Булгакова: моя однокурсница жила в том доме, где он тогда обитал,— в Нащокинском переулке, № 3 («Замечательный дом, клянусь! — шутил Булгаков.— Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку». Но добавил уже не шутя: «Молю бога о том, чтобы Дом стоял нерушимо». Он и умер в этом доме, который несколько лет назад беспретепно снесли). Так вот, коль скоро я нередко бывал в этом доме, причем именно в писательской надстройке, вполне могло случиться так, что мне повезло бы встретить Михаила Афанасьевича — ну, хоть на лестничной площадке или где-то поблизости, на Сивцевом Вражке, на Гоголевском бульваре. А может статься, это и случалось? Но Булгаков тогда нисколько меня не занимал. Волновали другие встречи. Увидишь Качалова, Коонен, Бабанову или участников тех же «Турбиных» — Хмелева, Топоркова, Яншина — вот перед кем замирала студенческая душа!

Прошли годы, мы, вчерашние студенты, вернулись с войны и снова ринулись в Московский Художественный, где шла теперь пьеса о Пушкине — «Последние дни». Спектакль много уступал «Дням Турбиных», один только В. О. Топорков изумительно играл Биткова. И, возможно, как раз потому, что текст перекрывал чопорную, суховатую игру, перехлестывал через нее, мне впервые захотелось узнать, кто же он такой, что за писатель — автор «Последних дней» и «Дней Турбиных».

В читальном зале Ленинской библиотеки, при мягком свете из-под овальных зеленых абажуров, я погрузился в старые номера журнала «Россия» за 1925 год, где была напечатана первая часть «Белой гвардии». Позднее все нарастающий интерес к Булгакову привел меня на Никитский бульвар, к его жене, Елене Сергеевне. Анна Ахматова недаром называла Елену Сергеевну «колдуньей»: в глазах этой обворожительной женщины мелькали какие-то бесовские огоньки. Серьезная и шаловливая, то утонченно дипломатичная, то бесцеремонно прямая, светски кокетливая и детски простодушная, она явно была с нечистой силой накоротке и нередко словно бы мимоходом совершала мелкие, но непостижимые чудеса. Знакомясь с нею, вы сразу приближались к Булгакову. Булгаковским духом веяло и от скромной двухкомнатной квартиры, где «колдунья» жила.

Все написанное Михаилом Афанасьевичем Елена Сергеевна собственноручно перепечатала в трех экземплярах, машинописные тексты переплела в ледерин вишневого тона. Сперва я читал эти аккуратные томики еще не изданного Булгакова — пьесы «Зойкина квартира», «Бег» и «Мольер», роман о Мольере — у Елены Сергеевны («Садитесь-ка сюда, за этим столом Миша работал...»), потом

она стала разрешать мне уносить их домой. И наступил однажды великий час: Елена Сергеевна доверила мне — на трое суток — «Мастера и Маргариту». Ошеломленный, возбужденный, чуть ли не одичавший от восторга, я понял наконец, какой писатель сочинил «Дни Турбиных»!

Теперь булгаковские пьесы и булгаковская проза переведены на десятки языков, литературоведы и театроведы немало поработали, изучая биографию и творчество писателя, комментируя его сочинения, публикуя материалы его архива. (Особенно значителен и должен быть благодарно отмечен труд М. О. Чудаковой и Л. М. Яновской.)

И тем не менее место, занимаемое Булгаковым в истории нашей литературы и сцены, до сих пор по-настоящему не осознано. Он все еще воспринимается как писатель, который при всей его величайшей одаренности оставался как бы в стороне от основного течения литературной и театральной жизни времени. Между тем на самом-то деле было иначе, и сквозь все тягостные перипетии его писательской биографии проступила неотвратимая закономерность сложных взаимоотношений между правдивым искусством и эстетическим регламентом эпохи.

Эта закономерность во всей ее мощной реальности составляет основной внутренний сюжет только что вышедшей книги Анатолия Смелянского «Михаил Булгаков в Художественном театре», которая сейчас лежит передо мной. Книга, смело говорю, ценности исключительной. Ибо она не только приводит в систему обильные сведения, факты, подробности (в том числе и многочисленные документы, впервые Смелянским разысканные), но, что стократ важнее, вводит читателя в самую сокровенную суть булгаковской судьбы, ввергает нас в горечь и упоение пожизненной страсти Булгакова — его любви и ненависти к Московскому Художественному театру.

О, конечно, вы знаете «Театральный роман»! О, конечно, вы тоже гадали, кто есть кто: кто Станиславский, кто Немирович-Данченко, или иначе: кто такие Фома Стриж, Миша Панин, Филя, Людмила Сильвестровна... Ответить на эти вопросы легко, и Смелянский отвечает, не скрытничая. Но его книга — сама по себе театральный роман, только написан он не по булгаковской модели, то беспечно пародийной (и даже близкой к капустнику), то горько исповедальной. Нет, тут другое. Тут вас влечет за собой жестокая сила времени, невероятно трудного и для писателя Булгакова, и для Московского Художественного театра, и для всей русской интеллигенции, желавшей — во что бы то ни стало, всем обстоятельствам вопреки — сохранить собственное достоинство и дать неподкупно честный ответ на властные требования эпохи, далеко не во всем понятной и на поворотах крутой... Вглядываясь в эту эпоху, в одинокую душу писателя и в коллективную душу театра, А. Смелянский твердо и уверенно утверждает: что бы там ни было, этот писатель и этот театр были необходимы друг другу. Друг без друга они свою историческую миссию выполнить не могли. И только благодаря Булгакову Московский Художественный театр возвысился до «обжигающей правды пережитых и выстраданных дней».

Читая Смелянского, думаешь: какие великие преимущества дает автору широта его взгляда! Как нередко всем нам, пишущим о литературе или об искусстве, узость кругозора, предвзятость исходной позиции, скверная манера загонять себя в заранее приготовленный угол. Старательно увеличивая своего героя, мы принижаем тех, кто его окружал, не понимал, с ним спорил, и тем самым невольно обесцвечиваем картину действительной жизни. Легче легкого изобразить Булгакова жертвой многосложного механизма театра. Несомненно, это был плохо управляемый механизм, и нередко Станиславский тянул в одну сторону, Немирович — в другую, Судаков—в третью, Сахновский — в четвертую. А Лужский? А Марков? А прославленные актеры? А молодые актеры? Бесспорно, Булгаков подвергался давлению всех названных сил и страдал от их противоборства, нередко ни с кем не соглашаясь, никому не повинуясь и, бывало, всех скопом проклиная. Но этот несложенный механизм был в то же самое время живым, нервным и одухотворенным организмом. И какую бы ни причиняли Булгакову боль режиссеры или актеры Художественного театра, все они — порознь или вкупе — после «Дней Турбиных» только на Булгакова и уповали. Талантливее, ближе, роднее, чем Булгаков, не было писателя для Художественного театра, со времен Чехова и Горького не было. Это впервые показал — и доказал — Смелянский.

Факты — упрямая вещь, факты говорят о том, что руководители МХАТа несколько раз приступали к репетициям, но так и не смогли добиться разрешения «Бега». После нескончаемых — более четырехсот! — репетиций далеко не идеально поставили драму «Мольер» и, как только появилась проработочная статья в «Правде», испуганно сняли пьесу с репертуара. «Погубили «Мольера»,— считал Булгаков. (Впрочем, бывший завлит МХАТа, умнейший критик П. А. Марков был другого мнения. «Спектакль «Мольер» был прекрасен,— утверждал он.— Все играли отлично, и декорации Вильямса были удивительно красивы. Никакой чрезмерной пышности, никакого внешнего блеска». Но и Марков признавал: «Губил спектакль Станицын, он играл Мольера плохо, не было у него того-то главного... одни ямочки на пухлых щечках». Выходит, все-таки прав Булгаков: «Погубили...») Совсем не так, как мечталось Булгакову, разыграли «Мертвые души» (его инсценировка, писал Булгаков, «мало похожа на ту, которая идет в театре, и даже совсем непохожа»). Не начали репетировать «Батум». Пьесу о Пушкине взяли в работу, когда Булгакова уже не было в живых... Право же, можно понять, почему однажды в трудную минуту Булгаков на совет обратиться за помощью к Немировичу яростно возразил: «Нет, не обращусь! Ни к Немировичу, ни к Станиславскому. Они не шевельнутся. Пусть обращается к ним Антон Чехов!» Какой соблазн для биографа Булгакова обрушить громы и молнии на Художественный театр...

Однако же стена, о которую бился лбом Булгаков, не в Камергерском переулке стояла, и ведь сокрушить эту стену не могли ни Станиславский, ни Немирович, ни Луначарский, ни Горький. Вот «Репертуарный указатель» Главреперткома, изданный тиражом в 6000 экземпляров в 1929 году. На странице 27 тут значатся «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Бег», а против каждого названия четыре гробовые литеры: «Запр.». В 1931 году Булгаков подавленно произнес: «У меня перебито крыло». В 1932 году запрет с «Дней Турбиных» был снят — пусть только в Москве и только в одном-единственном Художественном театре, но все же эта пьеса получила право на жизнь.

4 сентября 1973 года П. А. Марков рассказывал мне (я тогда же записал его рассказ): «Разрешение возобновить «Турбиных» в 1932 году — результат хлопот Станиславского. Видимо, он действовал через Енукидзе и Рыкова, который очень любил наш театр, и, вероятно, без согласия Сталина тут никак не обошлось. Однажды Станиславский остановил меня в коридоре и спросил:

— А что вы скажете, если мы восстановим «Турбиных»?

И заговорщически улыбнулся. Я просиял, конечно».

А касательно «Бега», которому Горький уверенно предсказывал «анафемский успех», Сталин заявил, что это — «антисоветское явление», что «Бег» может быть поставлен только в том случае, если Булгаков допишет к пьесе еще одну или две картины, «чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа...». Вскоре после этого Елена Сергеевна занесла в дневник достопримечательный разговор между Булгаковым и режиссером Судаковым.

«М. А.: То есть, говоря другими словами, переводя нашу речь на европейский язык, вы хотите, чтобы я из Чарноты сделал сукиного сына?

Судаков: Сутенер, он, сутенер!»

Смешно и горько... Судаков объясняет Булгакову, каким должен быть Булгаковым написанный персонаж. Войдите, однако, в положение режиссера, который знает, какие требования предъявлены автору — и кем предъявлены. А пьеса-то — вот она, прекрасная пьеса, лучше не бывает, поставить ее хочется во что бы то ни стало, любой ценой! Одна беда: упрямый автор и слышать не хочет о «любой цене»...

Отношение Булгакова к Сталину — тема особая, очень сложная (многие порываются ее упростить, но нет, не выходит!), и Смелянский пишет об этом со всей откровенностью, справедливо полагая, что кривить душой было бы преступно. Хотя Булгаков и уверял: «...никак даже физически нельзя представить себе, чтобы человек, бытие которого составлялось из лишений и неприятностей, вдруг грянул хвалу»,— все же он «грянул хвалу» — написал «Батум». Написал по собственному побуждению, по своей доброй воле, а не под нажимом Художественного театра, и среди всех его пьес эта — самая слабая. Но дописывать «Бег» по сталинским указаниям отказался наотрез.

И «Бег» был впервые поставлен лишь в 1957 году, впервые напечатан в 1962-м. Еще через двадцать лет — в 1982-м — опубликована «Зойкина квартира». А «Багровый остров» и «Адам и Ева» не изданы поныне. Все эти вещи давным-давно напечатаны на Западе. Это ли не укор для нас? Это ли, наконец, не доказательство, что виновники булгаковских бедствий вовсе не в Художественном театре гнездились?

Вот почему прав Смелянский, когда делает упор не на разногласия между автором и театром (во всех случаях неизбежные), а на мощное — всем разногласиям вопреки — взаимное притяжение драматурга и театра. Этого именно драматурга — Булгакова, этого именно театра — Художественного.

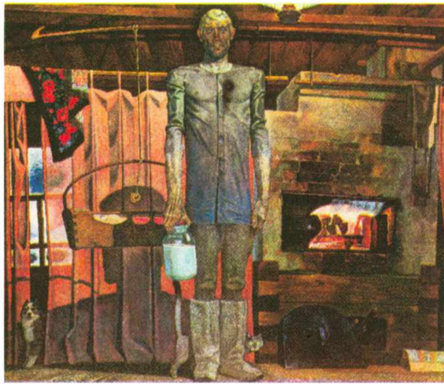
Путь Булгакова к сцене прослежен внимательно, причем впервые раскрыта потаенная предыстория булгаковской театральности, которой он пропитался еще в «Киеве-городе». Страницы, посвященные Смелянским «киевскому карнавалу», писательской юности, содержат множество важнейших сведений, позволяющих понять, как рано Булгаков был отравлен театром. Еще более увлекателен анализ булгаковских газетных фельетонов начала 20-х годов: Смелянскому с неотразимой убедительностью удалось показать, что чаще всего эти фельетоны «представляют собой драматические сценки, порой одноактные пьесы-миниатюры». И ведь точно, ведь так оно и есть! Биографы спорят. Одни говорят: работа в «Гудке» вместе с Ю. Олешей, В. Катаевым была счастливой порой его биографии, другие резонно возражают, что сам-то Булгаков вспоминал об этой поре, о «фельетончиках», которые он тогда «насочинял», с отвращением. Но важно вовсе не это. Важно, что в этих «фельетончиках», в «малой прозе» Булгакова проскальзывают мотивы, неожиданно предвещающие и «Зойкину квартиру», и «Багровый остров», и «Бег».

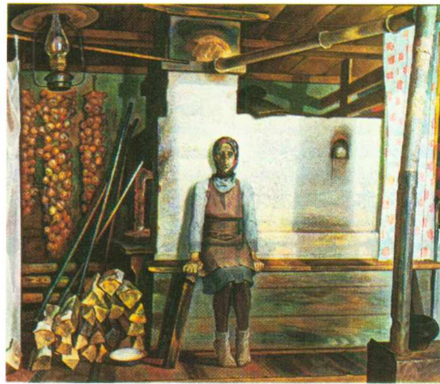
С другой же стороны, в книге Смелянского показано, как в это самое время, когда Булгакова влекло к сцене, Московский Художественный театр метался в тщетных поисках пути навстречу новой действительности, пути, который мог проложить только духовно — и стилистически — близкий театру новый драматург. Слово «стилистически» мне тут хотелось бы подчеркнуть. Потому что я не согласен ни со Смелянским, ни с покойным другом Булгакова С. А. Ермолинским: оба они уверяют, что к чеховской традиции Булгаков почти никакого отношения не имеет, что если чеховский «ген» и введен «в состав» пьесы «Дни Турбиных», то «с нежной иронией», а спектакль «Дни Турбиных» был, по словам Смелянского, «своего рода прощальный поклон Чехову». И даже — даже! — будто бы «художественное мироощущение Булгакова прямо противоположно чеховскому». На мой-то взгляд, Лариосик сродни Епиходову, Елена Тальберг живо напоминает Машу Прозорову, ее супруг Тальберг — Кулыгина, а главное, сугубо чеховская тема призвания русской интеллигенции пронизывает — разумеется, звуча в новых условиях по-новому, но все так же настоятельно,— весь театр Булгакова. Да и Художественный театр ни в 20-е, ни в 30-е годы расстаться с этой темой не может, ибо тут его почва и судьба. Что в конечном счете и доказано последним великим спектаклем довоенного МХАТа — «Тремя сестрами» 1940 года.

И еще в одном пункте я не могу согласиться с автором. Опираясь на рецензии начала 30-х годов, А. Смелянский склонен думать, что в спектакле Немировича-Данченко «Воскресение» роль чтеца «от автора» не вполне удалась ни постановщику, ни В. И. Качалову. Я хорошо помню спектакль и могу по этому поводу сказать одно: никогда и нигде, ни до «Воскресения», ни после него, более убедительного решения подобных задач не бывало. Вся партитура перемещений чтеца в пространстве сцены и в зрительном зале, виртуозно разработанная Немировичем, выполнялась Качаловым на редкость естественно, легко, без всякой аффектации: актер, наш вдумчивый и встревоженный собеседник, уверенно вел спектакль за собой. Когда Булгаков писал пьесу по «Мертвым душам», он учитывал этот опыт именно как опыт удачный, многообещающий.

В некоторых пьесах Булгакова — в «Багровом острове», «Беге», «Мольере» («Кабала святош») — явственно ощутимо воздействие театральных исканий Мейерхольда, Вахтангова, Таирова. Суть и значение этих контактов еще предстоит уяснить и по возможности точно определить. Но, понятно, данная тема выходит за пределы книги «Михаил Булгаков в Художественном театре», и без того чрезвычайно насыщенной, непринужденно и смело затрагивающей многие важнейшие вопросы жизни нашей литературы и сцены двух послереволюционных десятилетий. В каждой главе — будь то глава о «Днях Турбиных» или о так и не поставленном тогда «Беге», о «Мертвых душах» или о «Мольере», о «Последних днях», сыгранных уже после смерти Булгакова, или, наконец, о «Театральном романе»,— возникает новый сгусток сложнейших, интереснейших проблем, анализируемых умно, глубоко, точно.

Только не поймите меня так, что это-де «ученая» книга, проблемная и аналитическая. Да, проблемная, да, аналитическая, но нимало не «ученая», напротив, взволнованно искренняя, увлекательно смелая. Да, обильно документированная, но доверчиво открытая читателю, которому предоставлено полное право соглашаться с автором или с автором спорить. В книге нет недомолвок, все, что известно, указано и названо. А что неизвестно, что покуда еще гадательно и вопросительно, то и оставлено под вопросом. Никаких домыслов. Никаких покушений подогнать один факт к другому во имя торжества заранее заданной концепции. Театральная судьба Михаила Булгакова распахнута настежь, и мы вместе с автором жадно вглядываемся в прекрасное лицо Мастера.





РЯДОВОЙ МУХИН С ВОЙНЫ НЕ ВЕРНУЛСЯ...

В. Ф. САМАРИН. Род. 1938.
Диптих «ЭХО», 1981—1986 гг.
РЯДОВОЙ МУХИН
С ВОЙНЫ НЕ ВЕРНУЛСЯ...

Своим величайшим открытием считает Вячеслав Федорович Самарин встречу с Лавенкой — небольшой, всего в несколько дворов, деревушкой близ Смоленска. Здесь в кособоком домишке с русской печью, керосиновым светильником и цветными занавесками, в соответствии с давнишними устоявшимися традициями нехитрого крестьянского быта жили его герои...

Раньше его привлекали Север, где в Беломорье ходил на сейнере, а в большеземельской тундре кочевал с оленеводами, сибирская и дальневосточная тайга, где промышлял пушнину. Но между дальними и долгими поездками неудержимо влекла его глубинка, та среда, что сохранила в себе исконно русскую духовность. Там испытал он потрясение открытия и осознал свой долг творца, человека и гражданина.

Картина, еще не оформившись в замысел, давно жила в нем. Свойственная ему неуспокоенность, напряженное видение мира, активный исследовательский интерес ко всему, что формирует человека, и прежде всего к среде его обитания, как бы предопределили творческий путь художника, который привел к многолетней упорной работе над диптихом «Эхо».

«Рядовой Мухин с войны не вернулся...» Подробно и жестко написано внутреннее пространство избы. В небольшое замерзшее оконце светит луна. В печи — яркий огонь.

Но тревога, ощутимая остро и ясно, зарождается сразу же после первого взгляда на картину, где в центре, вытянувшись «во фронт», угловато разведя плечи, неестественный, живой и неживой одновременно, стоит Мухин с банкой молока в руке. Смотрит долгим немигающим взглядом. В глазах ни укора, ни вопроса. И только расплывается на груди маленькое алое пятнышко...

Картина Самарина несет в себе ошеломляющий заряд. Вновь война, пережитая много лет назад, входит в наш сегодняшний день. Входит с утренним светом в горницу Васильевны. Напряженная, цепко ухватившись руками за лавку, сидит она в ожидании чего-то, лишь ей ведомого. Долгие годы провела Васильевна в хлопотливых заботах, пережив свою молодость, встретив одинокую старость. Тема русской женщины, вечной солдатки, обездоленной войной...

Точный до скрупулезности язык картины воспроизводит мельчайшие подробности, каждая из которых, имея свое прямое назначение, в то же время символична. Детализируя и углубляя значение изображаемого, художник вместе с тем доводит его до четкой формулы жизни и смерти, войны и мира.

Прекрасный живописец, Самарин добивается полного подчинения пластического решения картины образным задачам. Используя различную живописную фактуру, он стремится решить два значительных полотна в едином эмоциональном ключе.

Ирина ЧАБРОВА

Диптих «ЭХО».
ВАСИЛЬЕВНА. УТРЕННИЙ СВЕТ.





ДЕД ТАРАС И ЕГО БЫЧОК

Самосвалы сгрузили гору пахучего разнотравья на тротуар возле дома № 38 по улице Баяна.

— Если не секрет, зачем вам, горожанину, сено?— поинтересовался прохожий.

— Секрета нет.— Тарас Семенович опустил вилы.— У меня ведь целая ферма...

Тарас Семенович Горб держит корову, есть бычок, бывает и три. Откармливает. Свинья есть.

В Полтаве таких домов с подворьем еще много, да не все держат скот.

— А ведь лет тридцать назад в горфинотделе были зарегистрированы две тысячи коров и шесть тысяч свиней! Жители города производили много молока. А мяса ежегодно — до шести тысяч тонн. Как два хороших колхоза...

Деду Тарасу скоро восемьдесят. Держится бодро, лицо от загара бронзовое. В глазах веселые искорки, а в жилистых руках — сила. Ни свет ни заря — на ногах. Работает вилами, граблями, косой, серпом...

Правильную оценку дали инициативе Т. С. Горба руководители дорожного ремонтно-строительного управления, где он много лет сторожует. Поддержали.

Парторганизация и профком управления установили с ним деловые партнерские отношения. Горб, Базалий, Ландар, сдают мясо государству, а государство им — корма. Управление дает транспорт, чтобы вывезти продукцию. Нужда в стройлесе, асфальте, ремонте сарая — помогут... Член партбюро Владимир Сергеевич Ландар — последователь Тараса Семеновича, он выращивает у себя на подворье бычков, свиней, кроликов.

Т. С. Горб четырнадцать лет косит травы в выдолинках, лесополосах вблизи села Бречковка. Собирает у соседей и в пищеблоках картофельные очистки, свеклу, капусту, морковь. Откормил таким образом сорок две головы крупного рогатого скота.

В Полтаве живут почти триста тысяч человек, а молоко продает государству только дед Тарас. Один. Он ежедневно отвозит по десять — двенадцать литров молока на молокозавод.

Откликнулся Т. С. Горб и на призыв обкома партии освоить бросовые земли. Ему отрезали сорок пустующих соток. Уже семь лет выращивает он там картофель, капусту, помидоры, огурцы, фасоль, столовую свеклу, морковь. Одной тыквы получает до четырех тонн. Конечно, петрушку, пастернак, перец, чеснок, лук, сельдерей, укроп... Около тонны овощей сдает государству, остальное распределяет: это сыну, это зятю, себе, однополчанам, инвалидам Великой Отечественной Петру Емельяновичу Федорченку и Андрею Андреевичу Андриенку.

В семье Горб трудятся все. Внучка Светлана все чаще подсаживается с подойником к корове, умеет доить и внук Александр. Помогает им бабушка Мария Евтихиевна. Правда, чаще дела вершит сам хозяин. А ночью — на службу, в дорожное управление...

Константин БЕЛЫЙ

Полтава.



ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА ДАНИЛОВА

Начало см. на стр. 15.

ночи, в праздники и выходные, естественно, побольше. Кстати, и сейчас, выйдя на пенсию, придерживаюсь того же режима.

— Привычка?

— Не только. Как ни странно, времени свободного теперь даже меньше, чем прежде. Много выступаю с лекциями, то по просьбе ЦК комсомола, то общества «Знание» или книголюбов, почти всю республику объездил за последние годы. Недавно с агитпоездом «Молодогвардеец» ездил целый месяц по Тюменской области, сам вернулся помолодевшим...

* * *

— Интересно, Александр Сергеевич, как вы поступаете с разного рода злодеями, гениями зла, так сказать? — спросил я.

— Извините, но точно так же, как с гениями добра, талантами и полезными человечеству людьми,— заношу их в свой словарь в алфавитном порядке. Ведь должны мы знать своих врагов, хотя бы для того, чтобы уметь с ними бороться.

* * *

— Напрасно вы за это дело взялись,— сказал Данилову при встрече с ним в Ленинграде академик Д. С. Лихачев,— вам придется занести в картотеку миллионы людей. Это немыслимо.

— О каких миллионах вы говорите, Дмитрий Сергеевич? — возразил академику Данилов.— За сорок пять лет поисков мне не удалось набрать и четырех тысяч тех, кого мы относим к рангу гениев, и менее двадцати тысяч крупных талантов, остальные сто пятьдесят тысяч более или менее способные люди. Всего, значит, собрано в словаре почти сто семьдесят две тысячи фамилий. До конца жизни, может, удастся дойти до трехсот тысяч...

— Обидно,— задумчиво сказал академик.

А я подумал вот о чем: в последнее 30-томное издание БСЭ огромный коллектив ее авторов включил около... двадцати тысяч персоналий. Так нужно ли помнить еще о 150 тысячах?

— Пусть это решают наши потомки,— мудро заметил Данилов.

Современников же Данилова, судя по лавине их заинтересованных писем к нему, подобные сомнения не волнуют.

* * *

В кабинет директора всемирно известной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде вошел посетитель в довольно потертом костюме отечественного пошива и с неприметной, скромной внешностью. Директор, видимо, спешил, но, пробежав глазами письмо, поданное незнакомцем, сел в кресло, не снимая пальто. Тут он еще раз, уже внимательнее, прочитал письмо, подписанное заместителем министра культуры Казахской ССР. Потом вызвал своих заместителей и главного архивариуса. Потом снял пальто и попросил кого-нибудь прочитать письмо вслух. Прочитали — и наступила долгая пауза. В письме излагалась просьба: ознакомить шахтера-библиографа А. С. Данилова с архивами профессоров С. А. Венгерова и Б. Л. Модзалевского.

— Вот вы все пожилые люди,— нарушил наконец тишину директор,— был ли на вашей памяти подобный случай? Нет. Может быть, до революции было? Тоже нет. Давайте Александру Сергеевичу создадим максимальные удобства для работы...

— Я был предельно счастлив, мечта моя сбылась,— рассказывал Данилов.— Я сидел за письменным столом Семена Афанасьевича Венгерова, в его кабинете, в его кресле. Я попросил разрешения разбавить давно засохшие чернила в его чернильнице и его ручкой записал часть нужных мне сведений. Храню их теперь как реликвию...

Потом он выступал с рассказом о «Людях голубой планеты» в Союзе писателей, затем в Доме ученых, в Доме книги на Невском проспекте и дважды перед работниками библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

— Почему дважды? — спросил я.

— Это меня самого удивило,— сказал Данилов.— После первой, почти трехчасовой лекции в зале стояла мертвая тишина, никто не задал ни единого вопроса. Я даже расстроился, но директор меня успокоил: «Вы обрушили на нас такую лавину необычной информации, что требуется какое-то время на ее осмысление. Давайте через два дня встретимся вновь». И мы встретились, и снова зал был полон, и два с половиной часа я только и делал, что отвечал на профессиональные вопросы библиотечных работников...

* * *

Показав словарь, записанный в 38 больших амбарных книгах (по 7—8 тысяч персоналий в каждой, остальное пока на карточках), он сказал, что решил иллюстрировать «Людей голубой планеты». Каким образом?

— Почтовыми марками, конвертами с портретами, репродукциями картин, наконец. И 85 процентов этой работы уже сделано!

Словно не заметив моего изумления, он вскользь, как бы мимоходом, заметил, что словарь хотя и основное, но далеко не единственное дело его жизни. И пояснил:

— Понимаете, если бы я только составлением словаря занимался, он давно бы мне осточертел. Поэтому я постоянно переключаюсь на что-то другое, иначе скучно жить...

Так, переключаясь, он составил сводный каталог изданий всех книг, выходивших с 1917 по 1957 год. Между прочим, даже в крупных библиотеках такого каталога нет. Собрал громадную коллекцию открыток, которые подарил потом дочери... Составил каталог всех портретных марок, выходивших в мире... Словарь личных имен «Людей голубой планеты», который продолжает пополняться (в нем есть, например, Лагшмида, что означает — Лагерь Шмидта, есть Трактор Иванович и Трактор Семенович, есть Троллейбус Николаевич, кстати, кандидат наук).

— Однажды, дело еще в школе было, притиснул меня здоровенный десятиклассник к стене: «Ты, Книголюб (школьная кличка Данилова), есть книжка под названием «Четырехрогий баран», автора не знаю. Найди ее, а иначе вот»,— и сунул под нос в качестве аргумента кулак. Я в библиотеку, но кто же без автора книгу найдет? И начал я с того времени вести каталог названий книг, причем всех: и художественных, и технических. Только название и автор!..

Чудачество? Посмотрим. В конце 1986 года Ленинградской библиотекой имени Салтыкова-Щедрина совместно с библиотеками имени Ленина и АН СССР впервые выпущен первый том указателя названий художественной литературы (тираж, правда, мизерный — 5 тысяч на весь великий Советский Союз). Только художественной, а у Данилова собрано все и продолжает собираться. Поэтому его пригласили участвовать в этом восьмитомном издании, и в седьмом томе будет предисловие, ему посвященное. Вот так...

Приходит ему однажды из Свердловска письмо от инвалида войны со слезной просьбой: «Лет тридцать ищу книгу «Коронка в пиках до валета», знаю, что это приключенческая повесть о продаже русскими Аляски. Когда-то читал ее, но автора не запомнил. Писал и в Москву, и в Ленинград, помочь не могут».

Через три минуты Данилов знал, что автор книги В. Новодворский, но это псевдоним, а настоящая фамилия Сиповский Василий Васильевич, профессор, литературовед, пушкинист. Что у него масса научных трудов, но для разрядки, чтобы отвлечься, он писал приключенческие повести (всего шесть), а эту «Коронку» опубликовал в 1923 году... Через неделю на сообщение Данилова пришел из Свердловска ответ на нескольких страницах убористым почерком. Если бы сложить в кучу одинаковые слова из этих страничек, то добрую половину составило бы «спасибо».



Возвратившись из Парижа в Вашингтон, адвокат Бен Нортон узнает об убийстве любимой им женщины Донны Хендрикс. На свой страх и риск Нортон ведет расследование преступления. Журналистка Гвен рассказывает ему, что ее подруга Донна влюбилась в президента Чарлза Уитмора, но затем порвала с ним и уехала в Калифорнию. От той же Гвен Нортон узнает, что владельцем дома в Вашингтоне, где была убита Донна Хендрикс, является киноактер Филдс, помогавший Чарлзу Уитмору во время избирательной кампании. Посещение Филдса, после которого Нортон, избитый, приходит в себя утром в канаве, и разговор с помощником президента Эдом Мерфи утверждают его в мысли, что дело нечисто и от него что-то скрывают.

ЛЮБОВНИЦА ПРЕЗИДЕНТА

Патрик АНДЕРСОН

РОМАН

Рисунки Геннадия НОВОЖИЛОВА

13

Когда Нортон вернулся с ленча, неожиданно позвонила секретарша босса: мистер Стоун хочет немедленно видеть мистера Нортона. Три минуты спустя он вошел в большой, тускло освещенный кабинет Уитни Стоуна и увидел его, неподвижно сидящего с недоуменной улыбкой на лице за антикварным столом. Стоун поглядел на Нортона, потом жестом пригласил его сесть в кресло.

— Я только что получил скверные новости, Бен,— начал он.

— Какие?

— Как ты знаешь, на основании твоих сведений из министерства юстиции мистер Бакстер тут же занялся приобретением радиостанций. Вчера утром он подписал бумаги.

— Так.

— А сегодня утром представитель антитрестовского отдела сообщил мистеру Бакстеру, что у министерства есть серьезные вопросы по поводу этого приобретения и оно готовит судебный запрет.

Нортон был так поражен, что не смог ответить; ему нанесли удар в спину, и он догадывался, почему.

— Я хотел бы знать, Бен,— продолжал Уитни Стоун самым любезным, в его устах наиболее зловещим тоном,— можешь ли ты пролить какой-то свет на этот весьма нежелательный поворот событий. Мы, разумеется, полагались на твою оценку настроения в антитрестовском отделе. Может, ты ошибся? Или тебя ввели в заблуждение?

Нортон был в таком гневе, что не мог сказать ничего, кроме правды.

— Нет, я не ошибся. Видимо, дело тут в одной довольно специфичной проблеме. Мы с Эдом Мерфи... ну, скажем, столкнулись во взглядах по одному личному делу. Я думаю, что организатором министерской политики открытых дверей был Эд. Надеялся урезонить меня таким образом по-хорошему. Но потом у нас состоялся еще один разговор, я по-прежнему не соглашался с ним в том вопросе, и он разозлился.

Уитни Стоун свел кончики пальцев и уставился в потолок, словно ожидая наставления свыше.

— Ценю твою искренность,— наконец сказал он.— Видишь ли, Бен, мне известно кое-что о твоем... э... столкновении во взглядах с Эдом Мерфи. Насколько я понимаю, оно связано со смертью твоей приятельницы мисс Хендрикс.

— Да.

— И Мерфи считает, что ты проявляешь к этому делу слишком большой интерес, с его точки зрения, довольно назойливый. Поэтому он воспользовался этим антитрестовским делом, чтобы поднять тебя, а потом сбить. Ты так это понял?

— В основном да.

— Тогда, видимо, главный вопрос заключается в том, не слишком ли воинственно ты ведешь себя?

— Думаю, что нет,— ответил Нортон.— Донна была убита при очень странных обстоятельствах. Никто не может сказать, почему она находилась в Вашингтоне, в этом особняке, в это время. По-моему, Эд Мерфи знает и лжет мне.

— Бен, подозреваешь ты, что президент Уитмор имеет какое-то отношение к ее смерти?

— Для такого предположения у меня нет причин,— сказал Нортон. Это было истинной правдой. Кроме того, как понимали и он, и Стоун, это было не категоричное отрицание.

— Но ты думаешь, что Уитмор и Мерфи могли знать, почему она находится в Вашингтоне, и даже общаться с нею?

— Совершенно верно.

— И настаиваешь, чтобы Мерфи удовлетворил твое любопытство по этим пунктам?

— Это не просто любопытство, Уит. Я считаю, что правда о ее смерти должна быть раскрыта, если это возможно.

— Правда о ее смерти, Бен, или о любовных делах?

Нортон ощутил, как в нем закипает гнев.

— Постой-ка, Уит,— сказал он.— Я считаю...

— Не обижайся,— перебил Стоун.— Дай мне, пожалуйста, развить эту мысль. Предположим для начала, что мисс Хендрикс была убита грабителем. Теперь предположим, что вечером накануне убийства она говорила с президентом или он был у нее. Считаешь ты, что эти сведения важны для расследования?

— Не исключено. В любом обычном расследовании были бы.

— Совершенно верно,— сказал Стоун.— Но ведь, согласись, это не обычное расследование. Наоборот, в высшей степени необычное. Если бы я или ты навестили мисс Хендрикс накануне убийства, это никого бы не интересовало.

— Необязательно накануне, Уит. Возможно, речь идет о том вечере, когда она погибла.

— Но доказательства у тебя нет?

— Нет. Ничего определенного.

— В таком случае, как ты, несомненно, понимаешь, это предположение в высшей степени серьезное, и его нельзя делать так легко.

— Я знаю.

— Еще бы! Итак, продолжу свою мысль. Какие бы отношения ни были у президента с этой юной леди, пусть даже самые невинные, если они станут достоянием гласности, то с их помощью можно опорочить, может быть, парализовать или даже сокрушить его администрацию. Таким образом, положение очень деликатное, и, возможно, суть заключается в том, насколько твое... э... дознание диктуется личным отношением к несчастной молодой женщине.

Нортон снова подавил гнев.

— Здесь нет личных чувств,— заявил он.— Я хочу только правды. Пусть Уитмор говорит правду, как и всякий человек.

— Правду,— повторил Уит Стоун.— Истину. Ты хочешь истины. Желаю тебе удачи в поисках, но должен заметить, что святые и философы ищут ее испокон веков без особого успеха. Лично я нахожу справедливость более практичной целью. В справедливости нуждается больше людей, чем в истине. Истиной в данном случае может оказаться, что мистер Уитмор безнравственный или неблагородный человек, но справедливо ли будет, если он пострадает как политик за свое не имеющее отношения к политике неблагоразумие?

Он улыбнулся и закурил сигарету, не сводя взгляда с Нортона.

— Я не хочу вредить ему как политику,— запротестовал Нортон.

— Конечно, нет,— сказал Стоун.— Ты хочешь только «истины». Но позволь заметить, Бен, только не обижайся, что твоя преданность истине в данном случае не абсолютна.

— О чем это ты?

— Насколько я понимаю, ты располагаешь некоторыми сведениями, которые используешь сам, вместо того чтобы поделиться с теми, кто официально уполномочен вести расследование. Я не вмешиваюсь в твои дела, но должен заметить, что ты можешь оказаться в не очень приятном положении.

Это был намек на ответственность за утаивание сведений. К сожалению, небезосновательный.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 14—18.

Нортону стало любопытно, кто осведомляет Стоуна. Белый дом? Прокуратура? Полиция? Но в Вашингтоне никто не выдает своих источников информации. Святого в этом городе мало, но они святы.

— Может, я и совершал ошибки,— сказал Нортон.— Но действовал из лучших побуждений.

— Ну конечно,— сказал Стоун, затянувшись сигаретой.— Пойми, Бен, я говорю как друг, которому небезразлично твое будущее. Само собой, я был бы неоткровенен, если бы сказал, что доволен этим поступком министерства юстиции.

— Жаль клиента,— сказал Нортон.— Он пострадал за чужую вину.

— Что ж, такое случается,— сказал Стоун.— Мы как-нибудь ему поможем. Главная моя забота о тебе, Бен. Я не хочу, чтобы пострадала твоя многообещающая карьера. Давай поговорим о ней. Мы ведь толком и не разговаривали после твоего возвращения из Парижа. Вот что, давай выпьем. Тебе шотландского?

Стоун подошел к шкафчику с бутылками и быстро смешал два коктейля; такое гостеприимство, насколько было известно Нортону, в истории фирмы не имело прецедентов. Нортон отнесся к нему с легким подозрением, но все же решил выслушать Стоуна до конца. Может, и в самом деле он руководствовался личными мотивами. Может, и в самом деле губил свое будущее.

Стоун подал ему стакан и сел.

— Ну, Бен, давай заглянем вперед, где тебя, несомненно, ожидает блестящая карьера. Какие цели ты ставишь себе?

Нортон расслабился, с наслаждением обдумывая вопрос. Заглядывать вперед было приятно, чем дальше, тем приятнее.

— Хочу быть хорошим юристом,— сказал он.— А в последние годы и здесь, и в Капитолии меня все больше и больше интересовали отношения между правительством и корпорациями. Они далеко не просто юридические. В них есть политический, экономический и культурный аспекты, и они развиваются по мере того, как конгресс издает новые законы, а корпорации движутся к некой сверхгосударственной роли. Здесь требуется определенность. Между обеими сторонами должна существовать более тесная связь, а мы являемся посредниками. Здесь есть простор, извини меня, для юридической мудрости, которая служила бы обеим сторонам и общественным интересам.

Он умолк и пригубил виски. Подумал, что Уитни Стоун известен служением отнюдь не общественным интересам и вряд ли может понять, о чем идет речь.

— Хорошо сказано,— заметил Стоун.— И совершенно справедливо. Иногда мне кажется, Бен, что половину времени я трачу, объясняя политикам корпоративный склад мышления, а другую — объясняя политический склад ума своим друзьям из корпораций. Здесь е с т ь нужда в определенности. И в мудрости. И еще, можно сказать, в философском осмыслении. Каковы истинные связи между общественным и частным секторами? Кто хозяин и кто слуга? Или здесь встреча равных? Это очень интересные вопросы.

— Да,— сказал Нортон.— А когда изо дня в день бьешься над текущими делами, на них нелегко сосредоточиться.

— Совершенно верно,— сказал Стоун.— Об этом я и хочу поговорить. Генри Уиллогби скоро уйдет. Он пока молчит, но здоровье его все ухудшается. Бедняга! Как тебе известно, он всегда был у нас философом, ну, а я обращал внимание на более практические дела. Но мне потребуется новый сотрудник, чтобы он подвергал анализу нашу корпоративную работу. Писал кое-что. Давал показания перед соответствующими комиссиями конгресса. В сущности, мне нужен человек, способный стать признанным на всю страну знатоком всех аспектов в отношениях между корпорациями и правительством. И само собой, чтобы вел те дела, которые сочтет наиболее интересными. Думаю, что для этой работы ты самый подходящий человек. Если, конечно, она тебя привлекает.

— Конечно, привлекает, Уит. Я даже не знаю, что сказать.

— Тогда не говори ничего. Просто поразмысли над этим, а детали мы обговорим попозже. Разумеется, важность твоей новой работы отразится и на размерах жалованья.

— Уит... Я очень благодарен.

— Меня восхищает честность, Бен. Я восхищен твоей откровенностью о разногласиях с Эдом Мерфи. И твоей преданностью этой женщине. Хочу только по-дружески напомнить тебе, что осторожность и сдержанность тоже могут быть добродетелями.

Нортон недоумевал. Разговор о Донне внезапно обернулся предложением блестящей работы. Хотел ли Стоун подкупить его? Или даже думать так — безумие? После недолгих колебаний подозрения Нортона снова взяли верх.

— Уит, но в другом деле, в вопросе о гибели Донны, я не могу дать никаких гарантий.

— И не нужно,— спокойно сказал Стоун.— Только я хочу предупредить тебя. Мне по секрету сообщили один факт. У меня, как ты, наверно, догадался, есть некоторые источники сведений о ходе расследования этого убийства, и я получил достоверное известие, что скоро, возможно, через несколько дней, будет произведен арест. Говорю это лишь для того, чтобы удержать тебя от опрометчивых поступков.

— Кто будет арестован?

Уитни Стоун вздохнул.

— Боюсь, это печальный конец печальной истории. Подозреваемый — ненормальный парень, на его счету целый ряд сексуальных преступлений, от подглядываний в окна до попытки изнасилования. Работает он продавцом винной лавки в Джорджтауне и продал мисс Хендрикс бутылку сливовицы в тот вечер, когда ее убили. Очевидно, он пошел за ней до самого дома и...

Стоун не закончил фразы. Но было ясно, что он имел в виду. Нортон безучастно уставился в пол. Значит, все кончено. Ее убил какой-то псих, извращенец, его арестуют — и точка.

— Подлить тебе, Бен?

Нортон мгновенно вернулся к действительности.

— Нет, спасибо. Извини, я пойду. Все это было... словом, вполне достаточно на один день.

— Конечно, Бен,— сказал Уитни Стоун со своей змеиной улыбкой.—Завтра мы поговорим еще.

Ошеломленный Нортон вернулся к себе в кабинет. Там он стал сопоставлять то, что Стоун сказал ему о Донне и о новой работе. Инстинкт ему подсказывал, что надо бояться Уитни Стоуна, дары приносящего. Как знать, правду ли говорил Стоун? Действительно ли собираются арестовать продавца из винной лавки, или Стоун это выдумал? Или он сам напрасно всегда сомневается во всех и во всем? Нортон выругал себя за нереши-



тельность и взялся за телефон. Через несколько секунд он разговаривал с Кравицем.

— Сержант, можно ли приехать сейчас, побеседовать с вами?

— Нет, если не собираетесь никого убивать,— ответил Кравиц.— Я сейчас еду на открытие бейсбольного сезона, там будет играть мой сын.

— У меня к вам один вопрос,— сказал Нортон.— Я слышал, вы собираетесь произвести арест по делу Хендрикс.

— Мы никого не арестовывали,— сказал Кравиц.

— Я понимаю. Но мне сообщили, что у парня из винной лавки целый ряд сексуальных преступлений и следствие интересуется им.

— Следствие интересуется многими лицами,— ответил Кравиц с легким раздражением.

— Да, но не могли бы вы сказать, входит ли в их число этот парень?

— Послушайте, Нортон,— прорычал сержант,— мы не рассылаем предварительных уведомлений перед арестом. Да, следствие интересуется этим парнем, но больше я не скажу ничего.

— Хорошо, сержант. Спасибо. Надеюсь, команда вашего сына выиграет.

Наконец удовлетворенный, Нортон положил трубку. Разумеется, Кравиц не мог сказать ему о своих планах. Но было ясно, что последует дальше. Разгадка тайны завершилась не громом политического скандала, а хихиканьем ненормального парня. Нортон закрыл глаза и задумался, хотелось бы ему, чтобы грянул политический скандал, чтобы гибель Донны имела больший резонанс, чем придаст ей суд над каким-то подонком. Потом приказал себе отбросить эти мысли. Вел он себя достойно. Может, и не умно, но достойно, и теперь пора подумать о будущем. Нужно вырваться из облака отчаяния, которое окутывало его последние недели. Он с улыбкой вспомнил неделю после выпускных экзаменов, когда он пьянствовал с друзьями четыре дня. Сейчас напиваться его не тянуло, но хотелось общества, смеха, развлечений, и он решил принять приглашение Гвен Бауэрс на вечеринку. Гвен звонила, сказала, что у нее соберется компания отметить первый рассказ, пристроенный ее подругой. Видимо, там будет весело, и Нортон подумал, что ему необходимо немного развеяться.

14

Нортон дважды позвонил, потом толкнул дверь и вошел. По длинному коридору направился к библиотеке, откуда доносились музыка и смех, там он обнаружил Гвен, она стояла перед камином и рассказывала восьми или десяти гостям:

— Значит, я в новом бальном платье, метет метель, машина моя не заводится, такси не видно, а мне через полчаса нужно быть в Белом доме на встрече Нового года. Что делать? Что хочешь, то и делай. Я натягиваю сапоги, иду на Массачусетс-авеню и стою там с поднятой рукой, пока не останавливается какая-то машина, для точности, красная «импала»; водитель глядит на меня, я на него; такого здоровенного, черного, страшного негра я в жизни не видела. А газеты писали, что негр в красной «импале» совершил целую серию зверских изнасилований. Вот это, детки, называется попасть в переплет. Но стоять холодно, других машин не видно, поэтому я влезла в «импалу» и говорю: «Слушай, приятель, если будешь насиловать меня,— давай по-быстрому, только прическу не порть, а потом подбрось к Белому дому».

Молодые люди, беспорядочно рассевшиеся в библиотеке, рассмеялись, вежливо, как двадцатилетние смеются шуткам тридцатилетних, и кто-то спросил:

— Когда это было, Гвен?

— О, много веков назад,—ответила она.—В последние дни Линдона Грозного. Собственно, при близком знакомстве он оказывался не таким уж грозным. Эй, смотрите, кто явился!

Гвен приветствовала Нортона звучным поцелуем.

— Это Бен,— объявила она гостям.— Бен,—она стала указывать на поднятые лица,— это Энни, ее первый рассказ приняли сегодня в «Космо», это Тим, юрист, это Митци, она работает в «Пост», это Майкл, пишет для «Роллинг Стоун», это... как тебя зовут, милый?

— Джо,— ответил бородатый парень.

— Джо,— повторила она.— А это Пит, по-моему, ты его знаешь, это... да ну вас, представляйтесь сами. Бен — юрист и очень славный человек.

Почти все молодые люди улыбнулись или приветственно помахали рукой, кроме одного парня в углу, он, казалось, показывал язык. Нортон взглянул на него еще раз и увидел, что парень вертит самокрутки.

— Пошли на кухню, там нальем тебе выпить,— сказала Гвен Нортону и потащила его по коридору.— У меня был разговор с тем сержантом. Он, как ты и говорил, крут. Но я, как и обещала, не сказала ему ничего лишнего.

— Послушай, Гвен, забудь об этом полицейском. Забудь обо всем. Дело закончено.

— Что ты имеешь в виду?

— Мне сказали по секрету, что полиция собирается произвести арест. Убил Донну парень из винной лавки. Он пошел за ней до дома или что-то в этом роде. У него целый ряд сексуальных преступлений. Он ненормальный.

— Это сказал тебе Кравиц?

— Нет, другой человек. С Кравицем я разговаривал. Он этого не подтвердил, потому что ареста еще не было, но сказал, что следствие интересуется этим парнем и картина, в общем, ясна. Так что больше я об этом не думаю. Нужно предать дело забвению. От нас больше ничего не зависит.

Гвен прислонилась к стене и вздрогнула.

— Слава богу,— сказала она.— Я думала, что... то, о чем мы говорили, сводило меня с ума.

— Я тоже так думал, Гвен. Давай теперь об этом забудем.

— Ладно, Бен. Только я хотела бы кое-что сказать тебе.

— Скажи.

— Многое из того, о чем мы говорили — о Донне и Уитморе,— она могла преувеличить. Или я могла не так понять. В таких делах трудно разобраться. Но теперь это уже неважно.

Суть сказанного до Нортона не дошла, но задумываться ему не хотелось, и он занялся приготовлением коктейля.

— Вот еще что, Бен. Сегодня я случайно встретила Фила Росса и пригласила заглянуть. Полагаю, ты не будешь против. Надеюсь, между вами нет никаких разногласий?

Нортон поглядел на нее, пытаясь вспомнить, говорил ли ей, что Фил Росс отказался от своих слов.

— Никаких,—ответил он.—Гвен, у меня нет разногласий ни с одним человеком. Я начинаю новую жизнь. Давай веселиться. Пойдем, я познакомлюсь с твоими друзьями. Кстати, кто они?

Они пошли обратно к библиотеке.

— Здесь главным образом друзья Энни,— сказала Гвен.— Я хочу познакомить тебя с ней. Она славная. И притом хорошо пишет. Работала в «Пост», но ушла на внештатную работу. Писала статьи для «Роллинг Стоун», «Вашингтониэн», но хочет по-настоящему заняться литературой. Она только что пристроила первый рассказ, по этому случаю и затеяна вечеринка.

В библиотеке Нортон сел на диван рядом с Энни, высокой, худощавой молодой женщиной с веснушками и длинными черными буйными волосами. Одета она была в джинсы и цветастую блузку, расстегнутую минимум на две пуговицы ниже, чем ее мать могла бы одобрить. Груди у нее были маленькие, изящные и такие же веснушчатые, как и лицо.

— Ты Энни,— сказал он.

— Да.

— А я Бен Нортон.

— Я знаю. Гвен сказала мне. Ты встречался с ее подругой по имени Донна, той, что была убита.

— Да.

— Расскажи мне о ней.

— Не хочется.

— Ну извини. Я лишь... Мне казалось, что это интересная история.

— Донна мертва,— сказал он.— История окончена.

— Эй, Энни,— окликнула ее другая женщина с противоположного конца комнаты.—Слышала про Софи?

Сорокапятилетняя Софи была членом конгресса и приобрела известность полнотой и откровенными высказываниями.

— Нет, а что с ней? — откликнулась Энни.

— Она беременна,— крикнула в ответ Митци.— О господи, можете представить Софи в п о с т е л и с ее крохотным м у ж е м?

Все загоготали, и парень, вертевший самокрутки, начал долгий путаный рассказ, соль которого заключалась в том, что спикер конгресса — фетишист.

— Вы, я вижу, не очень высокого мнения о выборных лидерах? — сказал Нортон.

— Еще бы,— ответила Энни.— Если забыть, что они говорят, и только видеть, что д е л а ю т, это смех. Я хочу сказать, что конгресс похож на обезьянник в зоопарке. Если обезьян переправить в конгресс, а конгрессменов в зоопарк, никакой разницы не будет. Может, на твой взгляд, я слишком радикальна?

Нортон пожал плечами.

— Там хватает шутов,— сказал он.— Но есть и хорошие люди.

— Расскажи об Уитморе,— внезапно попросила она.— Хороший он человек?

— В этом я не обвинил бы его,— сказал Нортон.— Но он может стать великим президентом. О более проницательном политике я даже не слышал.

— А что он представляет собой как личность?

— Не знаю. Никогда не интересовался им как личностью.

— Женщины интересуются,— сказала Энни.— Он очень привлекателен.

— По возрасту он годится тебе в отцы.

— Однажды у меня была интрижка с человеком его возраста. Складный мужчина, весь мускулистый, как Хемфри Богарт.

— Много было у тебя интрижек?

— Не знаю, много или нет. Мне двадцать семь, и у меня было двадцать три мужчины. Это много? А сколько было у тебя женщин?

— Не знаю,— ответил Нортон.— Потерял счет.

— Кроме шуток, скажи, сколько?

— Да много. Пятьдесят. Или сто. Несколько лет я вел счет. Идиотизм.

— Почему ты не женат? — спросила его Энни.— Похоже, ты склонен к семейной жизни.

— Склонен, но те, на ком я хотел жениться, не хотели выходить за меня, и наоборот. Я слишком осторожен. Смотрю на своих школьных друзей — кто разведен, кто собирается развестись, кому надо бы собраться. Глядя на них, спешить с женитьбой не хочется.

— Чего я не хочу,— сказала Энни,— так это иметь дело с женатиками. Пару раз пробовала, хватит.

— Почему? Испытываешь чувство вины?

— Нет. Но бывает обидно. Занимаешься с кем-то любовью, а он потом уходит проводить ночь с другой. Ты не представляешь, каково это.

Самокрутка с марихуаной дошла до них. Нортон передал ее Энни.

— Ты не куришь? — спросила она.

— Очень редко. После этого я всегда забываю, о чем говорил.

— Затянись,—предложила она.—Помогает расслабиться.

Нортон с раздражением затянулся. Женщины всегда говорили, что он кажется скованным, чопорным, сдержанным. Но как быть, если он так выглядит? Что ж теперь, ходить босиком?

— Знаешь, как ты выглядишь? — спросила Энни.— Тебе подошло бы сидеть в белом костюме на парадном крыльце своего плантаторского дома со стаканом мятного пунша в руке.

— Наподобие Кларка Гейбла в фильме «Унесенные ветром»,— сказал он.

— Может, скорее, полковника с рекламы жареных цыплят.— Энни хихикнула.— Но в духе старой южной аристократии. Преемник гордой традиции и все такое.

— Энни, хочешь знать, что это за гордая традиция? — спросил Нортон.— По словам моего отца, в восемьсот двадцатом году на день рождения королевы из лондонских тюрем выпустили всех заключенных с условием, что они покинут Англию, и все эти отбросы общества крали суда, сколачивали плоты и всяческими способами добирались до Америки, таким образом клан Нортонов и оказался здесь. Наше генеалогическое древо произвело множество конокрадов, сотни солдат-конфедератов, одного неплохого губернатора Северной Каролины и в конце концов моего отца. В тридцать четвертом году он лишился своей фермы, пошел работать на лесопильный завод за двадцать центов в час и был рад такому заработку. Я тоже работал на лесопильном заводе, но, во-первых, я был довольно смышлен, во-вторых, что еще более важно, отлично играл в бейсбол, из чего следовало, что я создан для великих дел.

— Как ты попал в штат Уитмора? — спросила Энни.— Мне казалось, он брал к себе только безжалостных негодяев.

— Он счел нелишним иметь рядом с собой одного деревенщину, чтобы смягчить свой образ,—сказал Нортон и засмеялся собственной шутке.— Нет, дело было сложнее. Я стал работать у одного сенатора из Северной Каролины советником в антитрестовском подкомитете. Когда мой сенатор умер, председателем, подкомитета стал Уитмор. Некоторое время спустя он вызвал меня к себе в кабинет. Я думал, что он хочет меня уволить и взять кого-то из своих. Вместо этого у нас произошел вот такой короткий разговор. Он спросил: «Хочешь остаться на работе, Нортон?» Я ответил, что хочу. Он сказал: «Оставайся. Я требую только преданности. Сто-

процентной». Я сказал, что это не проблема. Мы пожали друг другу руки, и разговор был окончен. И лишь получив очередную получку, я узнал, что Уитмор повысил мне жалованье.

— Ты его недооценил,— сказала Энни.— Ты хорошо работал, а он был не так глуп, чтобы увольнять тебя.

— Да,— ответил Нортон.— Это я в последний раз недооценил Чака Уитмора. В конце концов он сделал меня своим юрисконсультом. И вот я здесь.

— Я рада,— сказала Энни и погладила его по голове, тут к ним подошел Пит, бармен из бара Натана.

— Привет, мистер Нортон, как жизнь?

— Не жалуюсь. Ты знаком с Энни?

— Конечно. Мистер Нортон, извините, что прерываю ваш разговор, но у меня крупная неприятность. Затянитесь-ка.

Он усмехнулся и протянул громадную самокрутку. Нортон затянулся и передал ее Энни.

— Дело вот в чем,— продолжал Пит.— На той неделе я взял машину у одного парня, меня остановили за нарушение правил, под сиденьем оказалось шесть унций марихуаны, и мне предъявили обвинение в торговле наркотиками. А я даже не знал о марихуане.

— Когда суд? — спросил Нортон.

— Через две недели, в понедельник.

— Зайди на той неделе ко мне на работу, поговорим.

— Ну, значит, я спасен. Только вот денег у меня не густо.

— Пусть тебя это не волнует.

— Спасибо, мистер Нортон.— Пит поднялся и хотел уйти.

— Постой,— сказал Нортон.— Помнишь, недели две назад ты говорил, что какой-то тип приходил в бар и расспрашивал обо мне. Как он выглядел?

Пит скривился и подергал себя за бороду.

— Знаете, толком не помню.

— Ты сказал, что он похож на психа.

— Да? Я так говорил? Ну, может быть. Может, то был не он. Я тогда накурился. Ну ладно, до будущей недели, идет? — Пит торопливо вышел из комнаты.

— В чем тут дело? — спросила Энни.

— Пока неясно.

— Он ведь торгует наркотиками.

— Знаю. Но законы о наркотиках нелепые, и незачем ему садиться за продажу марихуаны.

— Много у тебя такой работы?

— Стараюсь иметь побольше. Наша юридическая фирма представляет самых крупных воротил Америки, и я с удовольствием время от времени помогаю беднягам.

— Ты нравишься мне,— сказала Энни.

— Ты мне тоже. Ты правдивая.

— Люди должны быть правдивыми,— сказала она.— Если человек некрасив или неумен, тут ничего не поделаешь, но правдивым при желании может быть каждый.

Нортон внезапно вспомнил о Донне, она была правдивейшей из всех, кого он знал, такой правдивой, что, может, это и убило ее, и ему захотелось напиться вдрызг, на время забыть о ней. Но одурью ничему не поможешь, и он сжал руку Энни, стараясь думать только о ней. Она была славной, умной, хорошенькой и правдивой, немного походила на Донну, но была на несколько лет моложе и соответственно непостижимее.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего. Кажется, я слегка забалдел. Расскажи, о чем ты пишешь.

— Рассказывать, собственно, нечего. Пишу статьи для журналов ради денег и рассказы, чтобы... словом, это проба сил.

— А что для тебя главная цель?

— Написать роман. Но я пока не готова.

— Гвен говорит, что ты ушла из «Пост». Почему? Я думал, туда все стремятся.

— Я тоже стремилась, но больше года не вынесла. Там работаешь, как на заводе. Хороший завод, выпускает хорошую продукцию, там есть хорошие люди, но все равно это завод. Одни работают на типографских машинах внизу, другие на пишущих машинках наверху. Работая внештатно, я получаю вдвое меньше и живу вдвое веселее. О господи, а о н откуда взялся?

Подняв взгляд, Нортон увидел, что к ним подходит Фил Росс. И хотел было встать, потом передумал.

— Фил, познакомься с Энни. Вы оба выдающиеся писатели. Налей себе виски и присаживайся к нам.

Росс нетерпеливо потряс головой.

— Я ухожу, Бен. Гвен не сказала мне, что здесь будет за вечеринка. Но я рад видеть т е б я. Я хотел сказать тебе, что мы с Эдом Мерфи сопоставили наши сведения о том... недоразумении.— Он глянул на Энни.

— Ничего, говори,— сказал Нортон.

— В общем,— сказал Росс,— в тот день он ехал по Висконсин-авеню с одной секретаршей, из Белого дома, очень похожей на твою подружку. Вот и конец загадке.

— Отлично, Фил,— сказал Нортон.— Замечательно. Слушай, ты сегодня опубликовал прекрасную статью.

Журналист довольно улыбнулся.

— Об этом стоило написать,— сказал он.— Ну, мне надо идти.

— Не торопись,— сказал Нортон.— Оставайся, познакомься с младшим поколением.

Росс нахмурился.

— Откровенно говоря, я не люблю бывать там, где курят марихуану. Это противозаконно.

— Правда,— сказал Нортон.— Грязное дело.

— Ладно, пока,— сказал журналист и заторопился к двери.

— Болван,— прошептала Энни.— Писал статьи в поддержку Никсона до самой его отставки, а курить марихуану, видите ли, противозаконно. Что там у него с Эдом Мерфи?

— Ничего. Только Росс сегодня утром опубликовал статью, сведения для которой он получил от кого-то, очень близкого к верхам, это означает, что они с Мерфи сейчас друзья. Расскажи о своем детстве. Ты играла в бейсбол?

— Нет, писала стихи. И примерно в то же время, когда твой отец лишился фермы, мой открыл в Бронксе зеленную лавку, и со временем она превратилась в одиннадцать зеленных лавок.

— Бог дает, и бог отнимает,— сказал Нортон.— Была ты счастлива?

— Я была несчастна. Была слишком тощей. И осталась до сих пор.

— Чем ближе кость, тем слаще мясо.

— Ч т о-ч т о?

— Старая южная поговорка.

— Она звучит неприлично.

— Да. Это значит, мне нравится, как ты сложена.

— Мне тоже нравится, как сложен ты.

— Очень рад слышать, мэм. Но в данную минуту, если вы простите меня, я пойду в туалет.

— Обратно дойдешь?

— Постараюсь.

Сохраняя равновесие, он пошел к туалету, но дверь оказалась заперта, внутри кто-то стонал.

— Что случилось? — спросил Нортон.

— Меня рвет,— ответил парень. Нортону показалось, что это тот, кто вертел самокрутки.— Я выпил джина. После этого меня всегда выворачивает.

Нортон вышел в заднюю дверь. Прошел по темному газону и облегчился под огромным дубом, глядя на звезды и ощущая себя в полном ладу с мирозданием. Постоял, прислушиваясь к музыке и смеху, доносящимся из дома, а потом заметил, что кто-то вышел из-за угла и притаился на клумбе перед окном библиотеки. Нортон сперва тупо смотрел на темную фигуру, потом вспомнил о любителе подглядывать, убившем Донну, и бросился вперед.

— А ну убирайся! — крикнул он.

Человек на клумбе подскочил и пустился наутек по газону. Одет он был в темный костюм, казался худощавым и жилистым. Нортон побежал за ним и стал догонять; когда их разделяло пять футов, убегавший бросился ему под ноги, как это делают футболисты и кинозвезды. Нортон долго плыл в воздухе, почти парил, но в конце концов упал вниз лицом на мягкую, росистую траву. Услышал, как на улице заработал мотор автомобиля. Нортон видел этого человека лишь мельком, но был уверен, что недавно встречался с ним. Но где? В Джорджтауне? В Палм-Спрингсе? В Белом доме? Он этого не знал, и, казалось, это было неважно. Ему вспомнились чьи-то стихи: «В мягчайшую грязь я сейчас ложусь и буду счастлив, пока не проснусь». После этого он заснул. И проспал бы долго, не выйди Энни и не разбуди его.

15

Проснулся Нортон в своей постели. Как попал домой, он не помнил, но чувствовал себя прекрасно. Открыв окно спальни, он подышал свежим весенним воздухом. Потом лег на пол и пятнадцать раз отжался. Пора было начинать новую жизнь. Долго стоя под душем, Нортон обдумывал все, что нужно будет сделать в ближайшем будущем. Он перейдет на диету и дважды в неделю будет играть в теннис. Поговорит с Уитом Стоуном о своей новой работе, вечерами будет писать и заниматься исследованиями, узнает в местных юридических колледжах насчет лекций по корпоративному праву. И еще Энни. Он явственно представил себе ее, высокую, худощавую, веснушчатую, с буйными волосами, и решил пригласить на обед. Только никакой марихуаны. Эти сумасбродства уже позади, теперь он будет думать только о будущем.

Нортон оделся, на завтрак выпил только чашку кофе — начиналась новая диета,— бодро вышел на улицу и отправился на работу пешком. Было свежее весеннее утро. Ночью прошел дождь, тротуары еще не высохли, но тучи разошлись, и небо было ослепительно-голубым. Возле театра «Биограф» какая-то бледная девица в старомодном платье спросила его, обращался ли он в последнее время к Иисусу. Последний раз Нортон обращался к Иисусу лет двадцать назад, но девица напомнила ему грустноглазых девушек из захолустья, которые в детстве играли с ним и молились, поэтому он вручил ей несколько долларов, оказавшихся в кармане. «Да благословит вас бог, да благословит вас бог»,— воскликнула она, когда Нортон пошел дальше по М-стрит. Он улыбнулся ее благословению.

За квартал до работы Нортон увидел идущего навстречу Гэбриэла Пинкуса и понаблюдал за ним. Другие пешеходы улыбались, насвистывали, радовались прекрасному утру. Гейб же шел по улице, как солдат по минному полю, переводя взгляд с одного лица на другое, словно его поджидал убийца. Это был невысокий, лысеющий, взъерошенный толстяк лет тридцати пяти, пожалуй, самый пытливый репортер в мире.

Заметив Нортона, Гейб безо всякого приветствия подошел к нему и шепотом спросил: «Когда вернулся?» таким тоном, словно Нортон скрывался от правосудия.

— Недели две назад, Гейб. Как твои дела? Читал, что ты получил Пулитцеровскую премию.

— Мне было бы нужно получить ее еще в прошлом году,— сказал Гейб.— По-прежнему работаешь на Уита Стоуна?

— Да.

— Мне нужно поговорить с тобой. Я наткнулся на одно важное дело.

— Что это на сей раз, Гейб?

Один из коллег Нортона подошел к ним и кивком поздоровался.

— Сейчас не могу сказать,— ответил Гейб.— Потом позвоню.

И, оглянувшись напоследок, скрылся за углом.

Об уходе Гейба Нортон не пожалел. Гейб был замечательным репортером, но иногда очень надоедливым. Он жил в мире интриг и заговоров и, поскольку реальный мир в последние годы часто соответствовал самым жутким его фантазиям, стал знаменитым журналистом. Однако Нортон хотел теперь быть подальше от интриг и фантазий. Все это осталось уже позади, и он решил сказать секретарше, что, если позвонит мистер Пинкус, его нет на месте.

Нортон вошел в вестибюль блестящего современного административного здания, поднялся лифтом на третий этаж и открыл большую дубовую дверь с надписью «Коггинс, Копленд и Стоун» на бронзовой табличке. Подмигнул Джози, новой приемной секретарше, вошел в свой кабинет и стал разбирать почту. Там были письма от клиентов, надушенное послание из Парижа, несколько наконец-то дошедших до него счетов, что-то из клуба «Сьерра», какая-то сводка из фирмы «Дьюк эламни каунсил», приглашение на прием по сбору фондов для сенатора из Северной Каролины и наконец письмо в простом белом конверте с его фамилией и адресом, старательно выведенными старомодным почерком. Отправлено оно было из Вашингтона без обратного адреса. Нортон нахмурился этой загадке и вскрыл конверт. Письмо оказалось кратким: «Потребуйте протокол вскрытия. Не сдавайтесь. Вы не одиноки».

Подписано было: «Друг».

Нортон перечел письмо несколько раз. Друг? Какой друг? При чем здесь вскрытие? Что еще оно могло добавить? Кто отправил письмо? Он решил, что это шутка, скверная шутка. Возможно, придумала ее Гвен. Или какой-нибудь псих. Или неизвестный враг. Полиция знает, от чего погибла Донна, убийцу нашли, что еще могло показать вскрытие? Он хотел было выбросить письмо и забыть о нем, но не смог. Что-то подсказывало ему, что это не шутка. Потянувшись к телефону, чтобы позвонить Кравицу, Нортон почувствовал, что утренний его оптимизм рушится и возвращается былая неуверенность.

Перевел с английского Д. Вознякевич.

Продолжение следует.

Джульетто КЬЕЗА,
итальянский публицист
специально для «Огонька»



ТРАГЕДИЯ В ПЛЕНУ МОЛЧАНИЯ

25 июля 1943 года на заседании большого фашистского совета диктатор Муссолини был свергнут. Король Виктор Эммануил велел арестовать его во дворе своей собственной виллы и назначил главой правительства и главнокомандующим маршала Пьетро Бадольо. В тот же вечер Бадольо провозгласил по радио, что «война продолжается... Италия верна данному ею слову». Муссолини был заключен в тюрьму в горах Гран Сассо. С 25 июля по 8 сентября положение оставалось смутным и неясным. Но военные события, крайне неблагоприятные для держав Оси, принудили Бадольо и короля вступить в секретные переговоры с англо-американскими войсками. 3 сентября был подписан секретный договор о перемирии, а 8 сентября вся страна узнала о нем по радио. Крупные военачальники были поставлены перед фактом. Итальянские войска оказались в состоянии распада, а немецкая армия стала оккупировать страну.

23 сентября Муссолини, выкраденный немецкими парашютистами из своей тюрьмы, повидавшись с Гитлером, который его «гальванизировал», создал марионеточную «Итальянскую социальную республику». В просторечии она называлась «республика Сало́», а члены фашистской партии стали называться «репуббликини». Вся власть принадлежала немцам, которые пытались осуществлять контроль над Северной и Центральной Италией.

«Республика Сало́» просуществовала до апреля 1945 года и пала одновременно с окончательным крахом нацистской Германии.

Свыше сорока лет в Италии хранилось молчание о том, что произошло с бывшими офицерами армии Муссолини, оказавшимися в районе Львова в плену у нацистов, после выхода страны из второй мировой войны...

История, которую иначе, как «странной», назвать нельзя, началась для меня в апреле 1985 года почти случайно. Я выехал в Брест и во Львов, чтобы собрать материалы для нескольких корреспонденций к сорокалетию окончания войны. Во Львове неожиданно услышал рассказ Юлиана Александровича Шульмейстера — бывшего военного прокурора, который участвовал в расследовании преступлений немецко-фашистских оккупантов на территории Львовской области. Гитлеровцы уничтожили там около 700 тысяч человек — евреев, украинцев, поляков. Установить все абсолютно точно спустя годы было, конечно же, невозможно, тем не менее из дошедших сведений следовало: погибло и около двух тысяч итальянских солдат и офицеров.

Почему? Когда? Каким образом?

Шульмейстер сказал мне, что речь не о каком-то недавнем открытии. Напротив, в актах Нюрнбергского процесса содержалось показание польской переводчицы Нины Петрушковны, которая передала список сорока пяти офицеров, знакомых ей лично по Львову и которые были частью «итальянского гарнизона». Юлиан Шульмейстер посоветовал в Москве обратиться к писателю Владимиру Беляеву, которому знакома история итальянских солдат, убитых немцами в период между летом и осенью 1943 года.

Возвратился в Москву с множеством вопросов. Не помню, чтобы когда-нибудь слышал о подобной трагедии. Две тысячи солдат — это не песчинка. В списке Петрушковны значатся, кроме того, два генерал-майора и пять полковников. Как могло случиться, чтобы в Италии никто и никогда не говорил об этом? В материалах Нюрнбергского процесса нахожу страницу 78 в четвертом томе. Там показание польской переводчицы: «После падения Муссолини фашисты требовали, чтобы итальянские солдаты, находившиеся в городе Львове, дали клятву на верность гитлеровской Германии. Многие из них отказались. Все отказавшиеся были арестованы. Таким образом, были арестованы две тысячи итальянцев, и все они были расстреляны немцами».

Звоню писателю Беляеву. Он принимает меня в своей квартире на Делегатской улице, показывает собранные документы. На письменном столе лежит экземпляр его книги «Обвиняю», вышедшей в 1984 году. Владимир Павлович прибыл в освобожденный Львов 2 августа 1944 года как военный корреспондент Информбюро. Сотрудничал с Комиссией по расследованию нацистских преступлений.

«Правда» 23 декабря 1944 года опубликовала заключительный документ о расследованиях во Львове. Беляев решает не ограничиваться собранными данными. Он начинает печатать в советских и польских газетах обращения к свидетелям истребления итальянцев, встречается с ними. Набираются сотни писем, документов, в основном это показания польских граждан, которые проживали во Львове в период между 1943 и летом 1944 года. Когда я читал все это, недоумение не только не рассеялось, наоборот, увеличилось. Как, действительно, оказалось возможным, чтобы итальянцы решительно ничего не знали о разыгравшейся трагедии? Трагедия попала в своего рода плен молчания.

Владимир Павлович несколько успокоил меня, показал газетные вырезки. Статью в «Уните» (6 июня 1959 года), написанную тогдашним корреспондентом Джузеппе Гарритано: «Как СС уничтожили итальянских солдат во Львове». Другую статью — Аугусто Ливи, бывшего в то время в Москве корреспондентом «Паэзе сера». Есть итальянские отклики на статью Беляева в «Литературной газете» (июнь 1959 года). Ровно через год итальянский еженедельник «Эпока» публикует репортаж, в котором приводятся показания четырех свидетелей, разысканных Беляевым. Это



С. Струпчевский, А. Ковальчик, А. Кунц и Нина Петрушковна. Еженедельник «Вие нуове» (12 марта 1960 года) полностью перепечатывает статью из «Литературной газеты». Следовательно, в Италии вся история должна быть известной уже очень давно... Между тем всякий раз, когда появлялись материалы о событиях под Львовом, на них набрасывали густую сеть молчания.

Фактов было предостаточно, чтобы еще раз публично задать вопросы, от ответа на которые старались увиливать. Мою корреспонденцию «Унита» напечатала в апреле 1985 года под заголовком «Неизвестная Кефалиния. История двух тысяч итальянских солдат, убитых нацистами в 1943 году». (Справка: на греческом острове Кефалиния немцы совершили массовое истребление итальянцев в еще больших масштабах сразу после 8 сентября того же года.)

Собственно, здесь и начинается та самая «странная» история, о которой я говорил вначале. На этот раз молчание было уже невозможным. Несколько депутатов парламента от партии коммунистов обратились к министру обороны Спадолини. Он был вынужден ответить. Министр сообщил, что первое расследование должен произвести так называемый «Комитет посмертных награждений павших на войне». Одновременно появились сообщения, будто в архивах генерального штаба нет никаких следов, не значатся имена итальянских офицеров, занесенные в документы Нюрнбергского процесса. Неужели снова все будет посыпано пеплом? Я послал Шульмейстеру статью в «Уните» и спросил, нет ли возможности разыскать оставшихся еще в живых свидетелей бойни? Ведь многие, на которых ссылался Беляев, умерли... Нет в живых и тех, кто расследовал преступления нацистов во Львове. Случись найти кого-либо, способного сегодня рассказать об этом эпизоде, может, и оказалось бы невозможным в который уже раз скрыть давнюю историю.

...История массовых казней во Львове слишком свежа в памяти людей старших поколений. Десятки рассказов были известными, повторенными тысячи раз. И вот поиски приносят результаты. 14 ноября прошлого года Шульмейстер пишет мне письмо: найдены четверо свидетелей трагедии!

«Хотя и с большим запозданием,— пишет Юлиан Александрович,— сообщаю вам, что найдены новые свидетели того, как нацисты во Львове в 1943 году убили итальянцев, отказавшихся принести присягу на верность Гитлеру». Следуют имена: Роман Михайлович Кречковский, 56 лет; Юлия Стефановна Москаль-Буковская, 59 лет; Семен Борисович Грузберг, 69 лет; Юлия Иосифовна Фурда, 90 лет.

К сожалению, мне не удалось быстро совершить вторую поездку во Львов. Там ждали два с половиной месяца, чтобы продолжить, в сущности, нашу общую работу. Сообщение ТАСС от 30 января об этом событии вызвало в Италии бурю эмоций. Невольным ее «организатором» оказался сам министр обороны Спадолини, ведь за прошедшие два года он не сделал абсолютно ничего, чтобы выполнить свои обещания парламенту. Первая раздраженная реакция министра выразилась в следующем безапелляционном заявлении: «Это всего лишь скандальная историческая ошибка».

Тотчас на помощь Спадолини и явились старые прислужники реакции. Генерал-пенсионер Джузеппе Иоли, президент «Национального союза сражавшихся в России», заявил: «Не было никакой бойни, учиненной немцами. Если кто-либо это сделал, то только русские».

Вот, оказывается, где собака зарыта! Видную роль в кампании фальсификации сыграла газета «Коррьере делла сера». В номере от 3 февраля утверждается, что «летом 1943 года на Украине не находилось никаких немецких солдат, после большого отступления в предыдущую зиму и Сталинградской катастрофы». Торопливое желание любой ценой отрицать все настолько велико, что, оказывается, во Львове не было не только итальянских, но также и немецких солдат, а только русские. На самом деле бойцы Красной Армии пришли туда лишь через год!

Министр обороны замечает, что летом 1943 года во Львове могли находиться «лишь несколько десятков итальянских солдат». ТАСС сообщил, что во Львове между летом и осенью 1943 года находились «дивизия Ретрово» и «Итальянский Ретрово». «Эксперты» негодующе заявляют: «Никакой дивизии, так называвшейся, никогда не существовало!» Однако уже ясно, что речь идет о слишком слабой аргументации и заместитель министра обороны Томмазо Бизаньо хочет найти, так сказать, более простое отвлекающее средство: он хочет судить о намерениях: «Что скрывается за этими советскими разоблачениями? Почему именно сейчас ТАСС вытаскивает на свет божий эту старую историю?»

Но теперь даже этого недостаточно для того, чтобы приостановить развитие скандала. Газеты уделяют новости много места. Начинают поступать также итальянские свидетельства. Группа парламентариев посылает телеграмму министру Спадолини. Один офицер, вступивший с ними в контакт, утверждает, что в указанный период во Львове находились еще несколько тысяч итальянских солдат. Более тщательные розыски в архивах подтверждают подлинность некоторых имен (в качестве «пропавших без вести в России»), указанных в списках Петрушковны. 65-летний пенсионер Витторио Мемессо пишет в одной газете: «Мы прибыли во Львов в ноябре 1943 года, и поляки рассказали нам, что незадолго до этого были убиты две тысячи итальянцев». Другой участник войны, Энрико Пимпинелла, находился в Афинах после 8 сентября 1943 года и видел сотни солдат, которых посадили в поезд, направлявшийся будто бы в Рим. На самом деле поезд пошел на Украину и в Литву. Эти солдаты никогда не вернулись в Италию...

Если дальше анализировать газетные публикации, найдем множество других свидетельств и документов. Среди них есть фотография удостоверения, свидетельствующего, что во Львове в тот период существовал «Комитет Ретрове Востока». Телеграфным обозначением этого штаба тыловых частей Восточного фронта было как раз «Ретрово». Все соответствует советским информациям. Инсинуации относительно «темных маневров Москвы» тают, как снег на солнце. Теперь кое-кто вспоминает, что много лет тому назад в Италии были опубликованы книги советских и польских авторов, подробно рассказывавших о массовых расстрелах итальянских солдат. Среди них книги польского историка Ячека Вильчура «Армир не вернется» и советского публициста Сергея Кузьмина «Сроку давности не подлежит».

Газета «Джорно» нашла в своих архивах статьи, взятые из книги советских историков В. Михайлова и В. Романовского «Нельзя простить». Эта книга была опубликована также в Италии в 1967 году издательством Мурсиа. Авторы, основываясь на нацистских архивах, восстановили всю историю. По данным на 10 декабря 1943 года, в нацистских лагерях содержалось 749 000 итальянских пленных солдат и офицеров. Менее чем через год, по данным на 1 ноября 1944 года, немецкий список регистрирует только 96 882 пленных итальянца. Какова была судьба тех, кто уже не значился в списках? Размеры истребления теперь намного превышают масштабы того, что произошло во Львове. Становится ясным, что после 8 сентября 1943 года нацисты систематически истребляли своих бывших итальянских союзников.

Становится очевидным: команды вермахта и начальники лагерей были особенно разъярены, итальянские солдаты отказались дать присягу на верность третьему рейху и после 8 сентября потребовали возвращения на родину.

Генерал Антонио Риккецца, который был капитаном при генеральном штабе в Спалато между 1941 и 1943 годами и который впоследствии, в 1944 году, был начальником Информационного центра итальянского корпуса освобождения, сообщил новые подробности:

«Во Львове действительно существовал итальянский этапный пункт. Его обязанностью было регистрировать людей и проходившие транзиты и оповещать команды, находившиеся впереди. К моменту отступления эта служба тыла, насчитывавшая 1200—1500 человек, должна была ожидать отхода всех итальянских войск, прежде чем могла отойти сама. Такова была необходимость, вызванная ее обязанностями. Никто не может исключать предположения, что эта служба находилась еще во Львове после 8 сентября 1943 года, то есть в те дни, когда, согласно свидетельствам, произошло массовое уничтожение».

Генерал Риккецца уточняет также, что командование львовского этапного пункта находилось в подчинении у военного командования во Флоренции. Но до сих пор никто не отправился туда, чтобы проверить архивы в поисках реально названных имен. Риккецца сообщает также, что генерал Риттер фон Оберкампф, командир батальона СС «Принц Евгений», отдал приказ расстрелять после 8 сентября всех итальянских офицеров, расквартированных в Спалато. На следующий день, 9 сентября, «три генерала и 120 офицеров из этой команды были расстреляны, так как они примкнули к перемирию». Это произошло в Югославии, но является подтверждением того, что существовал точный приказ, идущий из Берлина и, может быть, как недавно заявил Ячек Вильчур, не только из Берлина.

В интервью, напечатанном в варшавском еженедельнике «Жиче литерацке», польский историк цитирует многочисленные документы информационных служб «Армии Краевой». Из одного документа, датированного 24 ноября 1943 года, явствует, будто бы приговоры к расстрелу «нескольких сотен итальянцев, сторонников Бадольо, среди которых несколько офицеров высокого ранга», были «подписаны тремя офицерами-фашистами, специально присланными Муссолини, чтобы решить участь тех, кто не пожелал примкнуть к «республике Сало». Другой сигнал заключается в сообщении секретной службы «Армии Краевой», датированном 24 ноября 1943 года и посланном лондонскому правительству. В нем содержалась просьба обратиться к Ватикану для ходатайства перед нацистами в защиту 25 итальянских священников, заключенных в тюрьму на улице Лонцкого во Львове». Другие документы подтверждают, что «в ноябре и декабре 1943 года в лагерях, специально построенных во Львове, Хелме, Любельски и Богуще, были заключены по меньшей мере 30 000 итальянцев». Документация, не вызывающая ни малейших сомнений и показывающая, что существовал нацистский план: собрать итальянских солдат, взятых в плен после 8 сентября в различных зонах Европы, поместив их в концентрационные лагеря немедленно и непосредственно возле фронта.

Продолжать хранить молчание в таких условиях было невозможно. Вот почему министр обороны Спадолини вынужден образовать комиссию из историков и экспертов, поручив ей «углубить расследование».

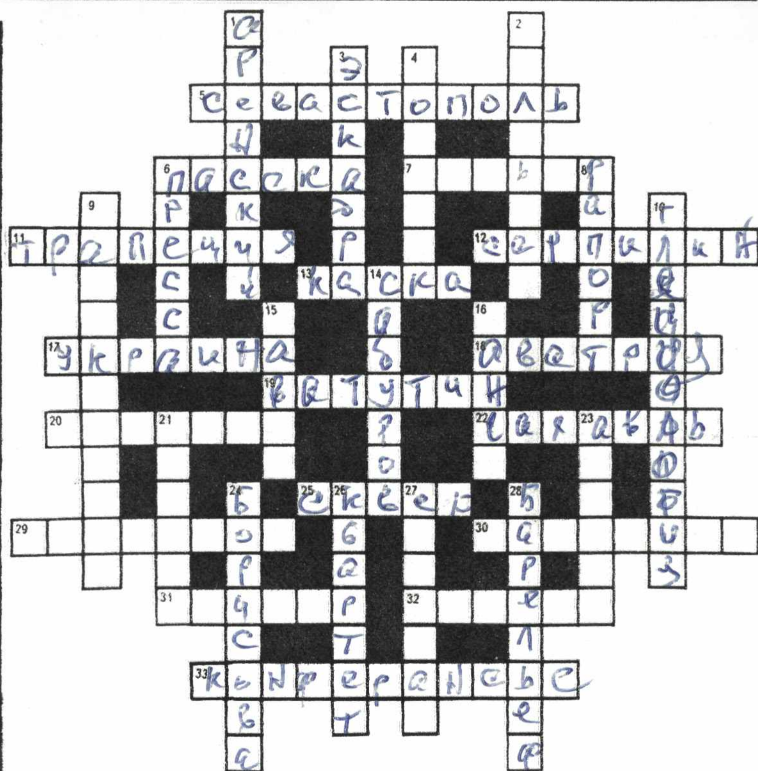
Однако «странная история» не будет скоро закончена.

Она обогащается еще одной главой. Теперь речь идет уже не только о том, чтобы выяснить, что произошло во Львове осенью 1943 года и в последующие месяцы.

Быть может, самая важная задача — выяснить, почему обо всем этом молчали. Почему на протяжении сорока лет определенные политические силы Италии цинично пускали в ход самые недостойные средства для того, чтобы направлять расследования по ложному пути, уклоняться от ответственности? Почему не хотели, чтобы трагедия итальянских пленных предстала наконец во всем своем политическом и моральном значении?

Джорджо Бокка в журнале «Эспрессо» писал, что это побоище «наделало слишком много шума». Вот мнение этого известного итальянского журналиста: «Речь идет не о том, чтобы забыть преступления, совершенные против человечества, и об истреблении людей, даже не о том, чтобы молчать об одних, дабы не говорить о других. Речь идет о том, чтобы обладать чувством исторической меры, не играть при помощи недостоверных свидетельств или, того хуже, при помощи дезинформации». Вот как! Остается привести слова из своей первой корреспонденции: «Как могло случиться, что такое количество материалов и документов игнорировалось на протяжении стольких лет и с таким упорством? Во Львове, в местах побоища, кем бы ни были погибшие там солдаты, принадлежали они к корпусу «Армир» или нет; не важно, произошло ли все это до или после 8 сентября,— Италия должна поставить в их память по крайней мере символическую надгробную плиту и возложить цветы».

КРОССВОРД



По горизонтали: 5. Город-герой. 6. Пчеловодное хозяйство. 7. Французский писатель XIX века. 11. Четырехугольник. 12. Персонаж трилогии К. М. Симонова «Живые и мертвые». 13. Защитный головной убор. 17. Советская союзная республика. 18. Европейское государство. 19. Советский военачальник, командовавший фронтами в Великую Отечественную войну. 20. Живописец, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 22. Рыба семейства карповых. 25. Небольшой городской общественный сад. 29. Советский физик, академик, один из основоположников квантовой электроники. 30. Небольшая оперная ария. 31. Химик, академик, Герой Социалистического Труда. 32. Рассказ А. П. Чехова. 33. Артист эстрады, ведущий концерт.

По вертикали: 1. Русский композитор, пианист, дирижер. 2. Химический элемент, металл. 3. Крупное соединение военных кораблей. 4. Порт на юго-востоке США. 6. Периодическая печать. 8. Устный или письменный доклад военнослужащего начальнику. 9. Русский график XIX века. 10. Наука о формах льда. 14. Командир партизанского соединения в Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза. 15. Старинный французский танец. 16. Тропическое вечнозеленое плодовое дерево. 21. Мелкая промысловая рыба. 23. Приток Нила. 24. Народная артистка СССР, выступающая в Театре имени Евг. Вахтангова. 26. Музыкальный ансамбль. 27. Приток Волги. 28. Скульптурное изображение на плоскости.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 18

По горизонтали: 3. Транспарант. 7. Фиалка. 9. Юкатан. 11. Концерт. 13. Алдан. 15. Орден. 18. Нилин. 19. Идиома. 20. Одарка. 21. Метан. 22. Стека. 24. Апорт. 26. Планшет. 30. Брынза. 31. Октава. 32. Спартакиада.

По вертикали: 1. «Казак». 2. Салют. 3. Тулча. 4. Слон. 5. Ааре. 6. Театр. 8. Иллюминатор. 10. Александров. 12. Циклотрон. 14. Находка. 15. Ондатра. 16. Знамя. 17. Анонс. 23. Конус. 25. Патна. 26. Палас. 27. Азот. 28. Шток. 29. Топаз.

НЕТ ПРОБЛЕМ?

Рисунок Виталия ПЕСКОВА



Владимир **НИКОЛАЕВ**

ТЕЛЕ-ТАРТЮФЫ

В американском статистическом справочнике за 1986 год говорится, что «в США члены различных религиозных групп составляют 140 816 385 человек, или 60,1 процента населения». Хотя точность (как видите, до одного человека) в такого рода подсчетах весьма условна, тем не менее тот факт, что больше половины американцев считают себя людьми верующими, сомнению не подлежит. Это подтверждается и моими встречами с ними на протяжении многих лет. Как правило, они положительно отвечают на вопрос о религиозной принадлежности и более или менее регулярно посещают церковь. Без ссылок на религию, без заверений в принадлежности к ней не обходится ни один деятель, зависящий от общественного мнения. Обращает на себя внимание обилие церковной лексики в различных политических заявлениях, исходящих из Белого дома, в том числе и воинственных. Не следует забывать, что поддержка со стороны правых клерикальных групп в США помогла Рейгану победить на президентских выборах в 1980 году и остаться на второй срок в 1984 году. Администрация Рейгана всячески способствует процветанию церкви. С другой стороны, хотя конституция США и обеспечивает свободу религии, она в то же время не гарантирует свободу совести атеистам. Налицо явное несоответствие! Причем в повседневной жизни американцу весьма непросто заявить о своих атеистических взглядах. Думаю, отчасти потому и объявляют о своей принадлежности к церкви немало американцев. Так спокойнее.

Можно привести много примеров в подтверждение тезиса, изложенного выше. Так, в американском суде при даче свидетельских показаний требуется религиозная присяга с упоминанием слов «под богом», в противном случае показания свидетеля ставятся под сомнение. В нескольких штатах показания в суде атеистов вообще не принимаются во внимание.

При первом же взгляде на религиозную жизнь в США бросается в глаза ее удивительная мозаичность, рядом сосуществует множество самых разных течений и организаций. В американском справочнике под рубрикой «Центры религиозных объединений» перечислено более ста адресов, а под рубрикой «Перечень религиозных групп» названо 66 основных общин, многие из которых подразделяются на разные направления (еще более ста). Самые крупные религиозные направления: протестантское, католическое, иудейское и восточно-православное. К американской католической церкви относится более 52 миллионов человек и 24 тысячи приходов. Для сравнения можно сказать, что у баптистов, представляющих одно из нескольких протестантских направлений, имеется около ста тысяч церквей. Понятно, что и счет священников в США идет на сотни тысяч.

Ко всему этому надо добавить, что религиозные организации в Соединенных Штатах имеют богословские школы, семинарии, колледжи и университеты. К тому же в США под эгидой церкви существует множество различных светских организаций. Есть у церковников и мощные средства пропаганды. Телевизор в США давно уже называют электронной церковью.

В американском телевидении меня лично больше всего удивляет обилие программ на религиозные темы. Как утверждают американские религиозные круги, в наше время в США воскресные проповеди по радио и телевидению слушают и смотрят 130 миллионов американцев. Цифра, на мой взгляд, спорная. Я провел немало дней под крышами самых разных американских домов, когда жил там в качестве гостя. В утренние воскресные часы передаются исключительно религиозные программы, но я не заметил, чтобы они собирали к экрану всех домочадцев. Есть, разумеется, у таких программ своя постоянная аудитория, причем она смотрит не только воскресные богослужения, но и другие религиозные передачи.

Любопытно, что Ватикан официально объявил святую Клару патронессой телевидения (покровителем радио является архангел Гавриил). Как гласит предание, монахиня Клара прославилась в 1252 году. Она по болезни не могла пойти в церковь и посетовала на это богу. И тут же увидела церковную службу на... стене своей кельи. Это обстоятельство и сделало ее святой.

Несколько слов о содержании религиозных программ. Они имеют свою, можно сказать, американскую специфику. Сами американцы отмечают, что в них обычно больше внимания уделяется политике, нежели религии. Так, во время избирательной кампании телепроповедники внушали своей аудитории, что сам бог послал Америке Рональда Рейгана. С телеамвонов проповедуется официальная политика Вашингтона и, разумеется, все тот же антикоммунизм, которым американцев одурманивают всеми средствами пропаганды, не только религиозными. С целью привлечения американцев к церковным программам их режиссеры предлагают не только проповеди и беседы. Есть реклама, есть специальные передачи для женщин, для детей, есть драматические постановки и даже нечто вроде «последних известий»... Конечно, и эти программы делаются на особый лад. Всю эту многообразную телепродукцию церковь готовит с помощью своих многочисленных кадров, у нее имеются для этого специальные университеты и колледжи, то есть она идет вполне в ногу с веком.

Как и обычное, можно сказать, светское телевидение, церковное тоже держится на своих «звездах», самые популярные из них привлекают к своим телепроповедям миллионы зрителей и соответственно собирают с них миллионы долларов. То есть мы имеем здесь дело с одной из многих отраслей американ-

ского бизнеса, она весьма прибыльна. По свидетельствам американской прессы, телецерковь выколачивает ежегодно из своих телеприхожан примерно два миллиарда долларов. Сумма солидная! Рынок огромный! Значит, должна быть и конкуренция, борьба за доходы, за свою клиентуру. Это обстоятельство и явилось причиной грандиозного скандала, потрясшего электронную церковь Соединенных Штатов.

Среди ее «звезд» первой величины была супружеская пара Джим Бэккер и Тэмми Фэй. У них была своя регулярная телепрограмма, которая так и называлась — «Шоу Джима и Тэмми». Супруги Бэккеры жили, не тужили (их доход в 1986 году — 129 миллионов долларов). Имелось у них три дома в разных местах, было и специальное поместье для каникул. Но были у них и конкуренты-завистники. Один из них, Джимми Сваггарт, тоже из «звезд»-телепроповедников (доход в 1986 году был равен 142 миллионам долларов, на него работают в США и за рубежом более тысячи сотрудников, ему принадлежат телестудия, религиозный центр, религиозный колледж). Вот какой церковник-бизнесмен! Тесно ему, конечно, на этом специфическом телерынке с другими такого же масштаба деловыми людьми, потому он и решил сокрушить конкурирующих с ним Джима и Тэмми.

Сваггарт раскопал грязную историю о Джиме Бэккере. Оказывается, Джим завлек в отель свою прихожанку, накачав при этом ее наркотиками. Далее следуют подробности порнографического характера. Когда случившееся стало известно уже нескольким лицам, Джим предложил девице 265 тысяч отступного. Тем не менее скандал замять не удалось. В ходе его всплыли факты о закулисной стороне жизни телезвезд от религии, которые до этого считались людьми, разумеется, не только просто пристойными, но и высокоморальными. В верхнем эшелоне этих «звезд» разгорелась свара. Выяснилось, что Сваггарт подкопался и под проповедника Марвина Гормэна, обвинив его в связи сразу с несколькими женщинами. Прижатый к стене Гормэн доказывает сейчас, что у него была всего-навсего одна любовница.

Навалился Сваггарт и на другого своего коллегу, евангелиста Орала Робертса. Тот вдруг объявил своей пастве, что ему не хватает полутора миллионов долларов до нужных на какую-то миссионерскую деятельность восьми миллионов. Робертс поставил вопрос ребром: если не соберут ему недостающую сумму, то он покинет наш грешный мир и приобщится к богу. В ожидании этих денег Робертс забрался в свою стальную башню для молитв (70 метров высотой) и заточил там себя. Сваггарт обвинил его в вымогательстве денег у верующих. Оскорбленный таким обвинением Робертс сблокировался с Бэккерами и обрушился вместе с ними на Сваггарта, обвинив его, в свою очередь, в том, что он использует верующих в целях личной наживы. К блоку Бэккеры — Робертс присоединился телепроповедник Роберт Шуллер (он возвысил свой голос из своего двенадцатиэтажного Кристального собора в Калифорнии, строительство которого обошлось в 18 миллионов долларов). А вот другой слуга телеамвона, Джон Акерберг, взял сторону Сваггарта. И посыпались взаимные обвинения в нечистоплотных делах, столь не идущих к лицу служителей церкви (пусть и электронной).

В мутной воде скандала кто-то терял, а кто-то приобретал, вылавливал свою рыбешку, причем немалую. Ведь, по сути, из-за дележа теleприбылей и рассорились проповедники. Пока больше всех выгадал Джерри Фолуэлл, один из ведущих в стране телепроповедников, основатель и руководитель так называемого «морального большинства», организации самого дремучего консервативного толка. Дело в том, что Фолуэлл ухитрился стать как бы наследником и преемником телеимперии Бэккеров, поскольку последних все-таки поглотили грязные волны скандала. Правда, они не погибли, а просто отошли пока от дел (как они говорят, на какое-то время) и удалились в свое роскошное поместье в Калифорнии. Что же касается Фолуэлла, то он в результате становится едва ли не самым ведущим телепроповедником страны. Ведь и до этого на него работало более двух тысяч служащих, и его проповеди передавались по каналам почти семисот теле- и радиостанций, доходы его исчислялись десятками миллионов долларов, а в университете Фолуэлла учится более шести тысяч студентов.

А каково мнение американской прессы по поводу всей этой истории? Обычно в ее суждениях по какому-либо конкретному случаю бывает разнобой, но тут дело настолько очевидное, что разноголосицы нет. Вот только заголовки: «Бог и деньги», «Секс-скандал», «Жадность и жажда власти раскололи телепроповеднический мир» («Ньюсуик»), «Несвятая теледрака», «Скандал вокруг секса и денег опозорил электронную церковь» («Тайм»). А вот любопытное свидетельство из журнала «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт»: «Теперь американцы познакомились с телепроповедниками, которые помогли избрать президента и кое-кого из сенаторов и которые выбирают учебники для наших детей».

В таких случаях говорят, что комментарии излишни...

КРЕСТ И ДОЛЛАР.

КОНКУРЕНЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ЦЕРКВИ.

СЕКС-СКАНДАЛ СРЕДИ ПРОПОВЕДНИКОВ.

ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ.







На карикатуре — телепроповедники у башни для молитв Орала Робертса.

Башня Робертса.

Телепроповедник Сваггарт обвиняет.

(Из журналов «Ньюсуик», «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт», «Тайм»)

ОГОНЁК





ЧЕРНИГОВ.
Мемориал Славы советским воинам, партизанам и подпольщикам.

АРХАНГЕЛЬСК.
Памятник «Доблестным защитникам Советского Севера. 1918—1920».





ПАМЯТЬ И БРОНЗА

У ленинградского скульптора Юрия Лоховинина две страсти — искусство и море. Вторая выковала его характер еще в молодые годы. Первая стала его жизнью.

Юношей он ушел на фронт. Сражался в частях легендарной морской пехоты, защищал Советское Заполярье. Война оставила память — следы трех ранений, боевые награды...

В послевоенные годы Лоховинин плавает на судах торгового и китобойного флота. А после окончания в 1958 году Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в его жизни наступает новый период — время творчества.

В 1967 году к скульптору-монументалисту пришел большой и заслуженный успех. Он один из авторов широко известного памятника «Легендарная тачанка», установленного на вершине древнего кургана в херсонской степи.

В последние два года Лоховининым в содружестве с ленинградским архитектором Михаилом Черновым исполнены значительные монументальные произведения. Это памятник «Доблестным защитникам Советского Севера. 1918—1920», открытый в ноябре 1985 года в Архангельске, и Мемориал Славы советским воинам, партизанам и подпольщикам, созданный в прошлом году для Чернигова.

Каждое лето пустеет скульптурная мастерская на Васильевском острове. Зашторены окна, закрыты тяжелые двери. И только глина еще хранит тепло человеческих рук. А из дельты Невы выходит на простор Финского залива небольшая яхта. Наполнит ветер тугие паруса, качнется горизонт, зашипит под штевнем крутая волна — и, кажется, нет в мире ничего прекраснее, чем летящее навстречу небо и соленый балтийский воздух. Ведь в жизни Юрия Лоховинина две страсти — искусство и море.

Андрей САЗОНОВ

ISSN 0131—0097
Цена номера 40 коп.
Индекс 70663